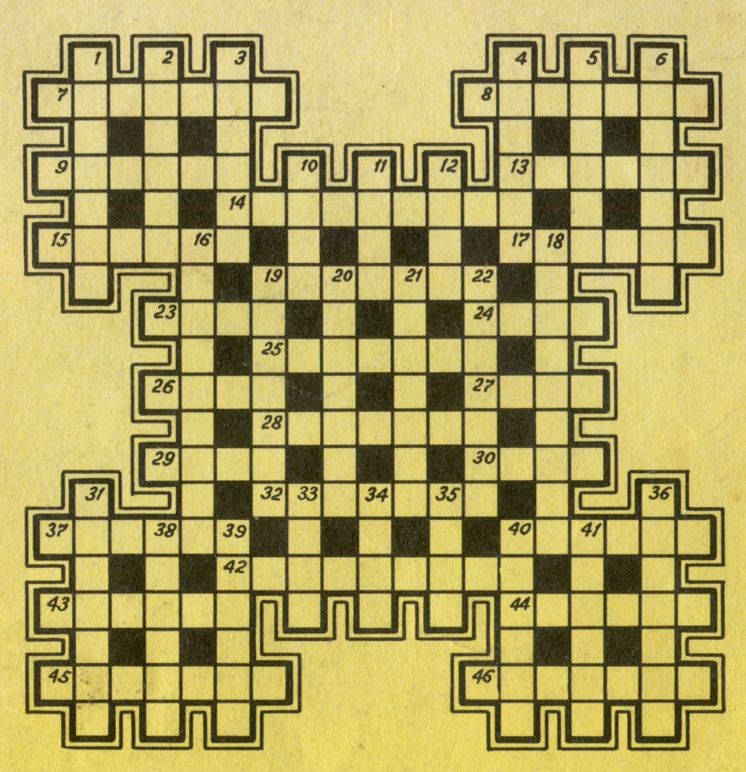
23-I-14

Цена 15 коп. Индекс 73755

КРОССВОРД



П о г о р и з о н т а л и: 7. Действующее лицо пьесы А. Островского «Гроза». 8. Башенные часы с музыкальным механизмом. 9. Самый крупный остров в группе Курильских островов. 13. Сахаристый сок растений. 14. Вводная часть международного договора, конституции. 15. Помещение для содержания овец. 17. Род балкона. 19. Русский публицист и литературный критик XIX в. 23. Южное декоративное растение. 24. Пушной зверь. 25. Учебное полугодие в высших учебных заведениях. 26. Остров в Средиземном море. 27. Хищная ночная птица. 28. Опера П. Чайковского. 29. Выпуклая замкнутая плоская кривая. 30. Английский философ-материалист XVIII в., автор «Опыта человеческого разума». 32. Дифференцирующее служебное слово. 37. Остов какого-либо здания, сооружения. 40. В греческой мифологии богиня мира. 42. Роман Ф. Достоевского. 43. Предмет мебели. 44. Ввоз в страну иностранных товаров. 45. Советский ученый, один из авторов проекта МГУ на Ленинских горах. 46. Советский композитор.

П о в е р т и к а л и: 1. Крепостное укрепление. 2. Музыкальный интервал. 3. Актерский состав театра. 4. Периодическое издание. 5. Водопад, низвергающийся уступами. 6. Минерал, разновидность талька. 10. Помещение в деревенских избах. 11. Приток Алдана. 12. Тип кузова легкового автомобиля. 16. Шахматный ход. 18. Поэт-декабрист. 19. Кондитерское изделие. 20. Летательный аппарат. 21. Основной вид графики. 22. Пригород Парижа. 31. Победитель художественных конкурсов. 33. Природное минеральное вещество. 34. Общая сумма. 35. Старинный защитный воинский доспех. 36. Количественная мера различных форм движения материи. 38. Пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы. 39. Прием, метод. 40. Рессорная повозка для пассажиров. 41. Странствующий певец в Древней Греции.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА И РЕДАКЦИИ:
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон редакции: 928-97-42

ГОРИЗОНТ

8•89 Общественно-политический ежемесячник

Интервью с СЕРГЕЕМ СТАНКЕВИЧЕМ и ВАЛЕРИЕМ ГИНЗБУРГОМ

Вячеслав Басков
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Воспоминания ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Первая выставка современной иконы

Александр Солженицын
МИР И НАСИЛИЕ

Александр Гангнус
ДЕНЬГИ ДЛЯ ЗАСТОЯ?

Работа Съезда и Верховного Совета, по сути дела, открывает новый период развития общественной системы социализма. Каждый из нас, да, думается, каждый советский человек осознает неординарность этих событий, их поворотное значение. И дело тут не только в том, что впервые на демократической основе сформированы высшие органы государственной власти и управления, определены основные направления внутренней и внешней политики Советского государства. И то, и другое само по себе крайне важно. Но главное, пожалуй, состоит в том, что положено практическое начало реальной передаче всей полноты государственной власти в руки Советов, созданию новой демократической модели включения народных масс в решение общегосударственных вопросов. Тем самым политическая реформа из области идей, разработок и планов переводится в плоскость практики, превращается в жизненную реальность. Страна становится другой, и соответственно должны обновляться наши взгляды и наши действия.

М. С. ГОРБАЧЕВ,
из доклада «Перестройка работы партии — важнейшая ключевая задача дня»
на совещании в ЦК КПСС
18 июля 1989 года

8 (465) 89 ГОРИЗОНТ

Общественно-политический ежемесячник

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Банник,
М. Каро,
Л. Кузнецов,
художественный редактор
Ф. Барбышев,
технический редактор
Н. Калиничева
Фото **А. Кондратьева**

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются и не рецензируются.

Сдано в набор 30.06.89. Подписано к печати 28.07.89. Л22603. Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитуры «Литературная» и «Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 3,57. Усл. кр.-отт. 5,04. Уч.-изд. л. 5,96. Тираж 100 000 экз. Заказ 4878. Цена 15 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Г $\frac{0302030800-172}{М172(03)-89}$ Без объявл.

СОДЕРЖАНИЕ

Перестройка: дела, проблемы, люди

Открытое слово

Москва и москвичи

Литература и искусство

«МЫ — ГРАЖДАНЕ!»

Интервью журналистки Натальи Владимировой с народным депутатом СССР, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории АН СССР, кандидатом исторических наук Сергеем СТАНКЕВИЧЕМ

— Сергей Борисович, в первые дни Съезда вы, как известно, предложили ввести поименное голосование по наиболее важным вопросам. Сегодня, исходя из результатов Съезда — создания комитетов, комиссий, назначений,— считаете ли вы, что ваше предложение было необходимым?

— Да. Действительно, мною была предложена поправка к временному регламенту Съезда, касавшаяся процедуры поименного голосования. Ее суть — поименное голосование проводится в том случае, если этого потребуют не менее 100 депутатов.

— Поправку не приняли...

— Она не была отклонена напрямую. Поправка прошла в том варианте, который был предложен М. С. Горбачевым,— поименное голосование осуществляется, если за это высказывается большинство Съезда. Данная интерпретация, прямо скажем, фактически обесценила поправку. Если большинство уверено в своей силе и в исходе голосования, ему вовсе не нужно «раскрываться» перед избирателями, среди которых наверняка найдутся и противники принятого решения. Нельзя такие вопросы целиком отдавать на откуп большинству! Зато поименное голосование может стать эффективным инструментом защиты прав меньшинства.

Допустим, что голосование в парламенте состоялось, но большинство избирателей склонно поддержать позицию меньшинства депутатов. Зная позицию каждого из своих избранников, избиратели смогут высказать свои оценки строго индивидуально. В следующий раз при аналогичном голосовании многим депутатам, возможно, придется внести коррективы в свой подход. Как знать, может тогда вчерашнее меньшинство станет сегодняшним большинством...

Таким образом, поименное голосование повышает личную ответственность депутата за принимаемые решения, отвечает принципу гласности и косвенно вовлекает в законодательную деятельность миллионы активных избирателей. Неужели эти цели не заслуживают внимания подлинно народных депутатов? Кстати, любителям авторитетных ссылок и цитат напомню, что работа В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад» целиком основана... на анализе данных о поименных голосованиях на II съезде РСДРП. Знаменитое разделение на большевиков и меньшевиков выявилось как раз в ходе поименных голосований.

— Благодаря вам, и академику Заславской, на Съезде был поднят вопрос о том, чтобы в Москве отвели определенное место для свободных массовых встреч депутатов с избирателями. Что вам как депутату дали митинги в Лужниках?

— И на Съезде, и после него нередко приходилось слышать уничижительные слова по адресу тех, кто участвует в митингах. «Бездельники», «горлопаны», «экстремисты» — таков стандартный набор ярлыков, щедро рассыпаемых на головы митингующих граждан иными приверженцами «железного» порядка. В широком ходу также классические сентенции типа: «демократия — не вседозволенность», «демократия — не демагогия» — и тому подобные «глубокие» наблюдения, произносимые с неподражаемой серьезностью. Что можно сказать по этому поводу?

Митинг — естественная и совершенно необходимая всякому нормальному обществу форма демократического волеизъявления граждан, известная в истории с древнейших времен. Любителям неотразимых примеров опять же напомню, что политическая деятельность молодого Володи Ульянова началась в свое время с организации несанкционированного митинга в Казанском университете. К сожалению, закосневшая в консерватизме администрация отчислила из университета группу молодых людей, сочтя их, по-видимому, «демагогами и экстремистами». Ах, как она тогда ошиблась! Впрочем, с тех пор наши отечественные «держатели и непущатели» мало чему научились: они все так же скоры на бездумные выводы и расправы.

Свидетельствую: на двухсоттысячных митингах в Лужниках летом этого года собирались в подавляющем большинстве серьезные люди, приходившие туда после работы, чтобы узнать из первых рук, из первых уст — какова обстановка на Съезде, каковы позиции и намерения депутатов. Людям было важно немедленно высказать в лицо депутатам свои боли и беды, идеи и предложения, обменяться суждениями обо всем, что с ошеломляющей откровенностью обрушилось с экранов на миллионы зрителей.

«Никогда больше мы не будем немыми обывателями, покорно глотающими одну кабинетную директиву за другой! Никогда больше мы не будем пешками в политических играх, придуманных не нами. Мы — граждане!» — эти слова прозвучали на одном из митингов. Мне непонятно, как можно высокомерно третировать такие естественные и искренние порывы!

— Входит ли в ваши планы вынести на одну из сессий Верховного Совета вопрос об отмене указа о митингах?

— Вопрос об этом ставился на Съезде, но не получил поддержки большинства. В нынешнем виде указ о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях, с моей точки зрения, неконституционен, поскольку дает местным властям полную возможность произвольно и бесконтрольно решать: кто, где и когда может использовать свои права, вроде бы гарантированные Конституцией.

По моему убеждению, собрания граждан в специально отведенных или приспособленных помещениях вообще не подлежат государственному регулированию. Есть место, где вы никому не мешаете,— собирайтесь на здоровье!

Что касается митингов, шествий, демонстраций, здесь должен, конечно, действовать заявительный, а не разрешительный принцип: граждане уведомляют власти о своем намерении и выходят на митинги, шествия или в пикеты, прекрасно зная, какую ответственность они несут в случае нарушения закона. За властями остается возможность запретить то или иное шествие, если есть очень серьезные основания. Но и в этом случае запрет должен быть мотивирован и изложен в письменном виде, а у граждан должна быть возможность обжаловать его в суде. Пока что иные районные властители могут отделаться от митин-

ны. Возможны, конечно, и другие варианты, но история всегда смеется, и порой очень жестоко смеется, над попытками перескакивать через объективно необходимые этапы. Сейчас у нас некоторые группы торопятся объявить себя политическими партиями. Запрещать, реагируя на «страшный» термин? Нелепо! Если бы жизнь менялась от слов, мы бы давно благоденствовали, не зная ни застоев, ни перестроек. В конце концов, граждане вправе удовлетворять свои разнообразные потребности в любых формах, не противоречащих закону. Почему бы, в самом деле, хоть раз в жизни с группой друзей не создать «политическую партию»? Кому от этого хуже? В Соединенных Штатах, к примеру, существуют более двух тысяч партий. Но доступ к власти имеют только две, за которыми стоят реальные мощные интересы, способные мобилизовать поддержку избирателей. Значит ли это, что остальные партии, живущие иногда очень недолго, вовсе не нужны? Нет, конечно. Наличие других партий способствует тому, чтобы в политике в цивилизованных легальных формах проявилось все многообразие интересов, а не только две-три доминирующие тенденции. В таких условиях ведущие партии вынуждены быть всегда начеку и оперативно заимствовать все свежие конструктивные идеи. В противном случае...

— Может ли со временем Народный фронт стать влиятельной силой в политической жизни нашей страны?

— Да, я считаю, что Народные фронты — это как раз та форма демократической самоорганизации граждан, которая нам сейчас очень нужна и которая наиболее соответствует переживаемому нами этапу. Мы вступили в эпоху популизма. Популизм как явление очень характерен для общества, которое переходит от авторитарного режима к демократическому. У нас нет четкой социальной структуры, нет ярко выраженных и организованных специфических групповых интересов. В популистских движениях главной объединительной силой выступают отрицание и протест против засилья бюрократии, против замкнутой элиты, специальных привилегий, коррупции и злоупотреблений, против каких-то явных, особо бьющих в глаза форм социального неравенства, против нарушений элементарных гражданских прав. Как только мы хоть сколько-нибудь серьезно продвинемся в реальной демократизации нашей жизни, в создании правового государства, устраним наиболее вопиющие противоречия, связанные с бюрократизмом и многими другими вещами, мы вступим в следующий этап, на котором произойдет размежевание огромных коалиций — массовых популистских движений. Тогда, возможно, возникнут какие-то другие формы. Но сейчас Народные фронты — это то что нужно, поэтому я считаю, что они в России будут развиваться. Московский народный фронт, членом которого я являюсь, имеет постоянные контакты с более чем полусотней Народных фронтов или оргкомитетов по их созданию, действующих на территории РСФСР. В ходе минувшей избирательной кампании Народные фронты России, особенно московский, ленинградский, ярославский, уральский, проявили себя в качестве серьезной политической силы, с которой уже нельзя не считаться. После выборов процессы консолидации, политического «созревания» и организационного оформления Народных фронтов ускорились. Массовые объединения активных избирателей становятся реальными партнерами обновляющихся Советов и одновременно их демократическими контролерами. Все больше и больше людей, освобождаясь от соглашательской летаргии, с гордостью повторяют про себя: «Мы — граждане!»

— Как Московским народным фронтом были восприняты результаты Съезда?

— Была смешанная реакция, примерно такая же, как и в обществе в целом. Были и почти панические высказывания, вроде того, что Съезд проигран, перестройка потерпела поражение, мы отброшены назад, Съезд не оправдал ожиданий. Я ни в коем случае не разделяю этих заявлений, не склонен драматизировать ситуацию. Люди, которые так высказываются, скорее всего имели явно завышенные ожидания по отношению к Съезду. Что касается меня и довольно значительной части людей, входящих в Московский народный фронт, они более реалистически оценивали возможности Съезда накануне его и сейчас не испытывают подобного глубокого разочарования. Съезд не мог принять каких-то серьезных законодательных решений, он просто не приспособлен для этого по самой своей структуре и потому хотя бы, что его полномочия не определены. Съезд сыграл роль беспрецедентного общественного форума с почти свободной трибуной, и в этом его главное значение. Впервые очень многие люди, практически все живущие ныне поколения, услышали столь серьезную, обоснованную, аргументированную критику существующего положения со всесоюзной трибуны. И это, конечно, стало фактом общественного сознания. Это уже никуда не уйдет. Кроме того, были достигнуты и некоторые другие вещи, скажем, депутаты добились проведения следующего Съезда осенью, а ведь это не предполагалось и не было заложено в Конституцию. Удалось не допустить сугубо формального избрания Комитета конституционного надзора. Важнейший орган, который будет иметь ключевое значение в становлении правового государства. Нам же предлагалось проголосовать за список людей, полученный за полчаса до голосования. Мы не могли даже задать им вопросы, а их предстояло избрать на десять лет, то есть это совершенно неестественная ситуация. Очень важно, что не была допущена вот такая серьезная, с моей точки зрения, ошибка.

— Как вы отнеслись к словам Ю. Н. Афанасьева о «сталинско-брежневском» составе Верховного Совета?

— У меня сложное отношение к этому высказыванию. В тот момент, когда оно прозвучало, оно показалось мне чрезмерно резким и, в общем, не соответствующим действительности в буквальном смысле этого слова, скорее следствием какой-то эмоциональной оценки. Но вот когда я, скажем, увидел некоторые последующие сцены, в частности совершенно безобразную, возмутительную сцену травли академика Сахарова, крупнейшего ученого-гуманиста... Дело не в том, что эти люди — носители конкретно сталинских или брежневских взглядов, а в том, что их сознание все еще сковано догмами и окаменевшими за много лет предрассудками. Они мыслят зачастую прежними категориями политической нетерпимости и холодной гражданской войны, хотя фраза, в том виде как она прозвучала, была обидна и попадала не очень точно в цель, она попадала и в тех, кто, объективно говоря, не заслуживал этого. Возражая против конкретной словесной формы, я вижу, что серьезные основания для резкой критической оценки у Юрия Николаевича все же были, и в этом смысле он затронул серьезную и больную тему.

— Много говорилось на Съезде о программе московской группы. Но она не была опубликована и в общем-то не прозвучала...

— Речь шла не о программе, а о пакете наших предложений. Пакет предложений был выработан и размножен в тех масштабах, которые были доступны, это порядка 600—700 экземпляров. Мы их распределили среди делегатов Съезда. Там были предложения, касавшиеся повестки дня (и мы их излагали, кстати, на Съезде), временного рег-

ламента, принципа выборов в Верховный Совет, принципа выборов всех важнейших должностных лиц, назначений и утверждений. В пакет вошли предложения по экономической реформе и реформе в сфере социального обеспечения, экологическая, идеологическая программы и т. д. Многие из этих предложений, звучавшие на Съезде, были отвергнуты с порога, без серьезного обсуждения, а потом мы мучительнейшим образом приходили к тем же самым решениям, но с напряжением, издержками, огромной потерей времени.

Публиковать наш пакт предложений сейчас не имеет смысла, потому что носили они предварительный характер, это была основа для дискуссий, а не какая-то платформа, которую можно переносить в законы. Этого не предполагалось.

Та группа, которая когда-то называлась московской, теперь превратилась в постоянно действующую межрегиональную депутатскую группу. Она создана, она действует, в нее входят на постоянной основе до 400 депутатов, сейчас пока точные данные мы не можем обнародовать — уточняются списки. Главная цель нашей межрегиональной группы — хорошо и заблаговременно подготовиться к Съезду, который будет осенью, выработать соответствующий пакет предложений, опять-таки по всем основным направлениям. Мы убедились, как важно готовиться заранее. А кроме того, с нашей точки зрения, на Съезде не было создано, во-первых, механизма демократического сопоставления разных точек зрения, во-вторых, основы, механизма для выработки разумного компромисса. Это еще одна задача нашей группы — способствовать тому, чтобы такие механизмы были созданы, мы соответствующие предложения выдвинем. Был избран координационный совет этой группы и небольшое бюро этого совета.

— Вы вошли в координационный совет?

— Да, и в координационный совет, и в его бюро. Координационный совет сформирован по принципу представительства всех основных регионов. Бюро небольшое, рабочее, которое будет постоянно информировать обо всем, что происходит. Причем будем информировать по возможности весь депутатский корпус, а не только ограниченный круг лиц. Деятельность МДГ принципиально открыта для сотрудничества с любыми депутатами.

— Если бы прошедшему Съезду еще только предстояло начаться, изменилась бы ваша позиция, что бы вы хотели скорректировать задним числом, извлекая уроки?

— Принципиально позиция вряд ли изменилась бы, но вот что я хотел поправить... Знаете, деятельность радикально-демократической группы на Съезде была очень неорганизованной. Сейчас, задним числом, я вижу это. Как в команде «звезд», где каждый играет сам по себе, каждый — солист. У нас были блестящие солисты, но пока не получилось организованных командных действий. И вот это очень серьезный минус: мало генерировать разумные идеи, надо в них убеждать последовательно, надо обеспечивать такую обстановку, и организационную, и психологическую, и политическую, в которой эти идеи воплощались бы в законы.

Предполагаю основные усилия сосредоточить в первую очередь на законодательстве, касающемся реформ нашей политической системы, об этом мы говорили ранее. Очень важно также пересмотреть Закон о порядке обжалования в суде неправомерных действий должностных лиц, отменить печально знаменитые Перечни № 1 и № 2 — составную часть Положения о порядке решения трудовых споров. Эти перечни ставят в дискриминационное положение представителей более 70 профессий, не дают им возможности защищать свои законные права в суде. Возмутительная антиконституционная практика!

У меня тесные контакты с формирующейся сейчас ассоциацией многодетных семей Москвы и Подмосковья. Уже целый ряд акций предпринят для того, чтобы оказать им помощь, в частности им выделено помещение на улице Горького. Они получат регистрацию, официальный статус юридического лица, счет в банке. Начат сбор вещей и игрушек для распределения среди многодетных семей. Кроме того, речь сейчас ведется об отводе для них земли в Подмосковье, о кооперативах, состоящих из многодетных семей, которые учитывали бы их потребности (надомный труд и т. д.). Давно надо было позаботиться об этой категории населения. Демографическая ситуация у нас, как вы знаете, очень неважная, особенно в Российской Федерации.

Ну, и экологические проблемы не пройдут мимо моего внимания. Здесь я буду поддерживать деятельность той экологической группы, которая сложилась на Съезде. Хочется думать, искать, добиваться. Хорошее время на дворе: трудное, но обнадеживающее.

Лазарь Лифшиц

ТРУДНОЕ ДИТЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

Хотим мы того или нет, но растущее сегодня кооперативное движение, со всеми его достоинствами и тупиками, успехами и вывертами,— плоть от плоти перестройки, ее дитя. И не начнись перестройка, мы знали бы о кооперации... не больше, чем знали. То есть ничего.

Но как-то так получилось, что мало-помалу, и чем далее, тем более, кооперация, которая должна была по идее стать баловнем общества, ведь на нее возлагались такие надежды, стала превращаться в глазах многих из розовощекого вундеркинда в гадкого утенка, вызывающего не просто неприязнь, а озлобление.

Парадокс? Да, и грустный. Но откуда это отношение? Почему?

Первый ответ, приходящий в голову,— зависть. Самая банальная, парализующая сознание и иссушающая душу. Одни ищут ее корни в далекой истории, другие — в нашей, когда грошовые заработки уравнивали всех и новые сапоги на соседе становились причиной затяжной вражды к нему со стороны всех жильцов густонаселенной коммуналки...

...Сегодня, думается, то же. Кооператоры получают сумасшедшие деньги. А я получаю 100—150. В лучшем случае 200. Что, я хуже? Значит, жульничают. Опять-таки цены у кооператоров кусаются — и барахло очень дорогое, а уж продукты и говорить нечего: шашлык — два с полтиной, пирожок с картошкой или капустой — 25 копеек. Безобразие! Куда милиция смотрит!

Итак, заработки. А где, у кого? В каких кооперативах? Ведь они разные. Есть такие, о которых население практически ничего не знает. Например, научно-производственные и изобретательские. Их пока немного, но вклад их уже весьма ощутим. Что они делают? Отнюдь не пирожки и «варёнки», а лазеры, голографические установки, всевозможные машины, станки, приборы и даже... самолеты. Да-да, и самоле-

ты. Причем все это по заказам заводов и НИИ и только по госрасценкам.

Примеры? Вот «старейший» в Москве (ему три года) кооператив «Мыслитель», который возглавляет кандидат технических наук М. А. Бокман (кстати, кандидаты и доктора наук в таких кооперативах явление обычное). Среди последних разработок «Мыслителя» — автоматическая прессовая линия высокой производительности. Ее серийное производство предполагается организовать аж на трех заводах Минстанкопрома. Заметим, что первоначально создание такой линии было поручено одному КБ, и она была создана. Цена — 280 тысяч рублей. Охотников выложить за нее такую кругленькую сумму среди заводов не нашлось — ведь на дворе хозрасчет. Обратились к «Мыслителю» — он сделал. Вдвое дешевле и втрое лучше и быстрее.

Или взять другой кооператив, «Поиск», возглавляемый опять-таки кандидатом технических наук М. Х. Сабировым. Здесь производятся и голографические установки, и приборы сверхпроводимости, и различные новые материалы. Сделали в «Поиске» любопытную новинку — бесшумный подвесной конвейер для типографий. Да и другое изобретение — лазерное легирование в жидких средах — также привлекло интерес полиграфистов, поскольку позволило значительно упрочнить режущий инструмент. До сих пор в типографиях ножи для резки бумаги тупились столь быстро, что в течение смены их приходилось несколько раз менять, станки же в это время простаивали...

Всем памятен всплеск страстей, когда решением Минздрава был закрыт медицинский кооператив, который на импортном томографе обследовал пациентов для выявления у них онкологических заболеваний. Правда, сеанс обследования на томографе обходился пациентам в 105 рублей. Именно это обстоятельство и привело к закрытию кооператива, а заодно к запрещению всех подобных. Но когда потом, задним числом, стали разбираться, выяснилось, что 90 рублей из 105 кооператив платил институту за аренду этого самого импортного томографа, 5 рублей уходило на пленку и зарплату лаборанта, и только оставшиеся 10 рублей шли собственно кооперативу. «Нельзя,— сказал Минздрав,— в нашей стране здравоохранение бесплатное. За лечение деньги брать неэтично...» Хотя за недолгое время своего существования кооперативу удалось выявить несколько десятков случаев операбельного рака, то есть фактически спасти людей.

А вот почему Минздраву не пришла в голову простая идея: снизить арендную плату за томограф с 90 до 5 рублей и тем самым сделать обследование в кооперативе общедоступным, контролируя при этом цену,— непонятно. Что же касается бесплатности нашей медицины, то каждый раз, входя в аптеку, я убеждаюсь в противном. Сердечники-хроники, чтобы не умереть, вынуждены покупать каждый месяц лекарств (в основном импортных, потому что наших подобных нет) рублей на 10—20. И даже анонимное обследование на СПИД стоит пятерку.

О томографе же я завел речь потому, что штука эта — тоже заграничная. А вот в кооперативе «Иорис» молодые ребята (этот кооператив вообще молодежный: и председателю, и главному инженеру чуть за тридцать) разработали уникальную рентгеновскую телекамеру — одну из важнейших составляющих рентгеновского компьютерного томографа. Кстати, сами компьютеры они также разрабатывают. И сейчас ищут (и уже почти нашли) организацию, которая вместе с ними явит на свет первый советский томограф, который любой больнице — в столице ли, в глубинке — нужен позарез.

Есть в Москве и Изобретательский кооперативный центр (ИКЦ), руководимый молодым талантливым физиком Г. Н. Ваксом. ИКЦ специализируется на разработках и внедрении изобретений. Как известно, в СССР зарегистрировано на сегодняшний день более 1 400 000 изобретений. А сколько внедрено в практику? Менее 10 процентов. Копейки! Сколько миллиардов экономии недополучила страна от этого — один бог знает. Ну и конечно, многие зарубежные фирмы, которые быстренько внедряют идеи наших изобретателей, а потом продают нам же за валюту новую технологию. Так вот, каждый изобретатель может прийти в центр со своими задумками, его выслушают, оценят и, если дело стоящее, начнут внедрять. Между прочим, когда современный Кулибин приходит с теми же предложениями на завод, там от него требуют (проверено многолетней практикой многих изобретателей) готовую машину: «Мы ее попробуем и, если она годится, возьмем. А идеи нам без надобности. Мы их реализовывать не можем — у нас план...»

А ИКЦ может. Уже на сегодняшний день разработано 400 изобретений. Самых разных: от технологии порошковой металлургии до специального упрочняющего покрытия дисков компьютеров и инструмента. Особенным спросом пользуется удивительная машина для производства кирпича, основанная на совершенно новых физических принципах. Недавно была встреча с американцами, которые демонстрировали свои кирпичи. И когда американец увидел «икцовский» кирпич, он рот открыл от изумления: хорош!

Замечу, что бо́льшая часть продукции научно-производственных кооперативов Москвы вполне конкурентоспособна и достойно выглядит на международных выставках, проходящих у нас в стране. Однако продать на этих выставках что-либо, особенно в крупных размерах, им очень трудно: западные фирмачи сами приезжают в Москву продавать, а не покупать. Чтобы нашим кооперативам выйти на мировой рынок, нужно участвовать в зарубежных выставках и ярмарках. Дело за валютой. А где ее взять? В начале года много говорилось о том, что начиная с апреля в стране будут проводиться валютные аукционы. Но вот уже и май на исходе, а о них ни слуху ни духу. Да и вообще проблема внешнеторговой деятельности советских кооперативов далеко не решена. То объявляется, что каждое предприятие (и кооперативное в том числе) может свободно выходить на внешний рынок. То, вслед за этим, сообщается, что для этого необходима лицензия (оформление которой достаточно сложная процедура).

Возможен вопрос: а что, разве мы не участвуем в работе международных выставок и ярмарок на Западе? Участвуем, но опять-таки в лице министерств. У них есть и валюта, им и лицензию проще получить. А кооператоры остаются дома. Хотя, будь такие валютные аукционы, они могли бы купить валюту — рубли-то у них есть — и поехать торговать. Но кому это нужно? Министерствам?

Кстати, о сумасшедших деньгах. Я везде спрашивал о том, сколько в кооперативах зарабатывают. Оказывается, средний заработок — порядка 500 рублей. А рабочий день 12—14 часов (как минимум). Но только ли заработок главное? Я уже упоминал, что среди кооператоров немало кандидатов и докторов наук. Как известно, доцент — кандидат наук в вузе получает 320 рублей плюс по НИР (за научно-исследовательскую работу) еще 125. 445 в сумме. Спрашивается, какая сила заставляет его напряженно работать в кооперативе, вместо того чтобы спокойно сидеть в вузе, являться туда два раза в неделю, прочитать пару лекций или провести семинар и неторопливо ехать домой?.. Разница в зарплате, как видим, не так уж велика.

Так вот, все, кого я ни спрашивал, говорили, что они пришли в кооператив ради идеи. Кто придумал станок, кто прибор, кто машину. Один мне даже рассказал, что работает над изобретением своего покойного отца. И нигде много лет они не могли реализовать свои изобретения, а значит, и свой творческий потенциал.

И еще одно толкает к перемене привычного уклада жизни — чувство хозяина, то самое чувство, которое, что бы там ни говорили, но живет в глубине каждого из нас, только проявиться ему вроде бы негде, да и незачем. А кооператив дает шанс.

Министерства не любят кооперативы еще и за то, что туда бегут хорошие, квалифицированные рабочие с заводов: и это при острой нехватке рабочих рук. Что ж, разберемся и с этим. Начнем с того, что с хорошего завода никто не уйдет по доброй воле. А что такое хороший завод? Это предприятие, где твердо налажен ритм труда (а не царит штурмовщина со всеми вытекающими из нее последствиями), где интересная, творческая (а не однообразная) работа, требующая высокой квалификации, и где эта квалифицированная и хорошо организованная работа оплачивается в полной мере. С такого предприятия в кооператив рабочий не убежит. А вот если все наоборот, то в этом виновата заводская администрация вкупе с министерством, и оправдание своих внутренних беспорядков «происками» кооператоров есть не что иное, как попытка свалить вину с больной головы на здоровую. В корне неверными представляются и высказываемые сегодня предложения уравнять зарплату на заводе и в кооперативе.

Как известно, огромный дефицит бюджета и растущая инфляция в стране есть прямой результат деятельности министерств, а не кооперативов. Кто угрохал миллиарды на поворот рек? Кооперативы? Кто выпускает тысячи тракторов и сельхозмашин, которые не хотят покупать крестьяне? Кто еще недавно начинал строить в Елабуге гигантский тракторный завод? Кооператив или покойный Минсельхозмаш? А оглянитесь вокруг: обувная фабрика гонит обувь, не пользующуюся спросом. И хотя башмаки и туфли валяются на складе годами не проданные, зарплата за них всем — от рядового обувщика до директора фабрики и даже министра — уже выплачена. И премия тоже.

Может ли кто-нибудь ткнуть пальцем в кооператив, который существует, не реализовав свою продукцию? Такого нет и быть не может. Так что разговор о незаработанных кооперативных деньгах (сразу оговариваюсь: речь идет о научно-производственных и производственных кооперативах) — чистой воды демагогия...

Александр Гангнус

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЗАСТОЯ!

Ликвидация кооператоров как класса — так вкратце можно охарактеризовать смысл, дух указа Президиума Верховного Совета РСФСР, тихо разосланный по областям и республикам России в дни Съезда народных депутатов 6 июня 1989 года. Расчет был, видимо, таков: страна у телевизоров, смотрит Съезд, переживает, волнуется, газеты забиты сообщениями, дискуссией. Все кончится, народ очнется от гипноза гласности, демократии, а указик — вот он, уютно и привычно улежался уже в папках, нестрашно мерцает цифирками: до 60 процентов отдай, кооператор. От хозрасчетного дохода. Почему указ не опубликован, не обсужден Съездом (где, кстати, кооператоры и не представлены)? А что обсуждать этакую мелочь!

Между тем значение этого указа малого, республиканского, Президиума не меньшее, чем знаменитой, отвергнутой Съездом статьи 11 «прим» в апрельском указе Президиума большого. И не менее зловещее.

Возьмем среднюю цифру — 30 процентов. 30 процентов хозрасчетного дохода — это примерно 15—20 процентов всего дохода, всей приходной части бюджета предприятия. Это значит: если у кооператива прибыль 15—20 процентов (а бывает и меньше!), то вся она, все 100 процентов идут в налог! С точки зрения мировой экономической практики (налоги везде исчисляют с прибыли) — что-то непонятное, невероятное.

У нас до сих пор чем-то непонятным является прибыль. Поэтому можно сказать иначе: налог на кооперативное, скажем, строительное предприятие оказывается в 15—20 раз выше, чем на аналогичное государственное. Все, что выгадали кооператоры на малочисленности управленцев, интенсивней, напряженней трудясь,— все это присваивает «дядя». Как правильно заметили в «Литературной газете» от 21 июня народные депутаты С. Н. Федоров и Н. И. Травкин, этот указ — удар по зарплате кооператоров. Ее подтягивают до уровня госпредприятий, где она невысока, но ведь там и напрягаться по традиции не надо... Кооперация лишается стимула и смысла своего существования.

Ясно, что хозрасчетное, не состоящее на дотации предприятие не может существовать и развиваться в запланированно убыточных условиях. Законодатель это тоже знает. Налогообложение — это способ заставить предприятия метаться в поисках выхода. Таких выходов — четыре.

Первый. Самоликвидация или переход в другую союзную республику, где соответствующий указ будет не столь драконовским.

Второй. Поднять цены на продукцию. (Для промышленных, строительных, дорожных кооперативов, работающих по госрасценкам, этот путь закрыт. Программе возрождения российского Нечерноземья тем самым наносится жестокий удар.) Кооператив, поднявший цены, может стать мишенью «классовой критики» типа той, что раздавалась на Съезде из уст некоторых «профсоюзных» делегатов, а то и жертвой социальной напряженности, погромов, примеры которых тоже уже имеются. Законодатель наверняка понимает, куда толкает кооперативы, и его этот вариант натравливания толпы на производителей почему-то не страшит...

Третий. Встать на путь жульничества — спекуляции, укрывательства доходов, пересортицы, фальсификации. Хороший способ пополнения армии преступников и узников тюрем. По-видимому, Президиум Верховного Совета РСФСР озабочен перспективой неполной занятости органов МВД, судов, прокуратуры...

Еще один, четвертый, путь подсказан в п. 4 Указа от 6 июня:

«В целях стимулирования производства необходимой населению и народному хозяйству продукции (работ, услуг) и снижения на нее цен (тарифов) исполнительный комитет местного Совета народных депутатов, регистрирующий устав кооператива, может на определенный срок понижать ставки налога или освобождать отдельные кооперативы от обложения налогом».

Потрясающий по своей глубине и подтексту пункт! Из него хорошо видно, что законодатель прекрасно знает путь, ведущий к росту про-

изводства «необходимой населению и народному хозяйству продукции» и ее удешевлению, то есть путь к благосостоянию народа,— это снижение ставок налога и даже освобождение от обложения. И кое-где это по усмотрению местной власти допускается. Но в целом, как правило, Президиуму Верховного Совета РСФСР (тоже, между прочим, «местного», российского) это не надо! Это все еще не соответствует гражданским установлениям и дальнейшим видам России!

И несчастный кооператор подталкивается к еще одному бесчестному выходу из налоговой удавки: «А ты, братец, уговори меня, власть, что ты хороший, что продукция твоя нужна народу. Будь со мной ласков, почтителен, носи в узелочках то-сё, и я тебя, может,— ха-ха,— и помилую». Если это не торжество произвола, с одной стороны, и полное бесправие — с другой, то что это! Видимо, Президиуму ВС РСФСР нынешний уровень коррупции и взяточничества представляется решительно недостаточным.

Но, допустим, кооперативы покорились, изловчились, сохранились, переложив на потребителя грабительские налоги, уплатили «дяде» огромные деньги. На что они пойдут, эти деньги! На сохранение неэффективного, дискредитировавшего себя аппарата, на дотации убыточным госпредприятиям и колхозам, на поддержание застоя и разрушение экономической реформы! На удушение экономически здоровой части наших предприятий в рамках несправедливой, неравноправной конкуренции с предприятиями-разорителями!

Одно слабое утешение — не получится: курица, несущая золотые яйца, перестанет это делать, если свернуть ей шею.

Дикий, пришедший из года «великого перелома», экономически самоубийственный, противоречащий Закону о кооперации и, следовательно, еще один незаконный указ должен быть немедленно отменен...

Юрий Солнышков

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ СОРЕВНОВАНИЮ!

Мое поколение выросло в атмосфере всеобщего соревнования, когда каждый стремился отличиться. Вся страна затаив дыхание следила за дальними перелетами наших летчиков, автопробегами через пустыню, тысячекилометровыми пешими переходами. А трудовых рекордов — не перечесть. Со страниц газет не сходили имена шахтера Алексея Стаханова, ткачих Евдокии и Марии Виноградовых, колхозницы Марии Демченко, паровозного машиниста Петра Кривоноса, сталевара Макара Мазая и других. Это позднее стало известно, что многие рекорды были специально организованы; что, например, у забойщика Стаханова, когда он устанавливал рекорд добычи угля, были помощники, которые и лаву крепили, и вагонетки откатывали...

Не берусь сказать точно, когда началось охлаждение к социалистическому соревнованию, но то, что это произошло,— факт. И сегодня само упоминание о соцобязательствах, «починах», соревновании нередко вызывает раздражение, в лучшем случае оставляет людей равнодушными. От профсоюзных активистов, организующих все это, отмахиваются, как от назойливых мух.

Что произошло? Почему естественное стремление к соперничеству, к состязательности, органически присущее человеческой натуре, оказалось подавленным в таком важном виде нашей деятельности, как трудовая? Дело, думается, в том, что саму идею соревнования в последние годы фантастическим образом заформализовали и обюрократили.

Вспомним, какое содержание вкладывал в соцсоревнование В. И. Ленин. В январе 1918 года в статье «Как организовать соревнование?» он писал, что соревноваться нужно за то, чтобы больше сделать для повышения производительности труда (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 204). Ленин считал, что соревнование поможет трудящимся «проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты» (там же. С. 195). Так задумывалось. И на первых коммунистических субботниках так и было

А вот инициатива рабочих ленинградского завода «Красный выборжец», которые 5 марта 1929 года через газету «Правда» обратились с призывом развернуть массовое социалистическое соревнование за досрочное выполнение первого пятилетнего плана, вызывает двойственное чувство. С одной стороны, нельзя не оценить благородный порыв людей, а с другой, ясно: опережение в работе одних предприятий и отставание других дезорганизует согласованное функционирование хозяйства в целом. Одно дело, когда речь идет о повышении качества продукции или более экономном расходовании сырья, а если ты просто увеличиваешь объем производства сверх ранее намеченного плана, значит, кому-то другому перерасходованных тобой ресурсов просто не хватит. У нас ведь пока все ресурсы распределены заранее.

Не случайно более двадцати лет назад на одной из крупнейших строек, которой руководили зарубежные специалисты, перевыполнять план не рекомендовалось. Конечно, бывают ситуации, когда перевыполнение плана интересов коллег не задевает. В связи с этим не могу не вспомнить давний случай, когда одно небольшое предприятие в погоне за высокими показателями произвело чернил на... триста лет вперед.

Что думают люди по поводу соревнования сегодня?

Сейчас все чаще можно слышать, что в новых условиях хозяйствования, при которых должен срабатывать механизм естественной конкуренции, соцсоревнование становится анахронизмом; что не стоит заниматься организацией соревнования, если не за горами образование социалистического рынка, где конкуренция, борьба за потребителя, за его рубли заставит нас выкладываться, и наградой будет прибыль.

Действительно, система организации социалистического соревнования переживает кризис. Думаю, это признают все. В Законе о государственном предприятии говорится об экономическом соревновании. Там же сказано, что это важнейшая форма соцсоревнования, и частично раскрыто его содержание (п. 4 ст. 2). Но одним упоминанием в законе соревнования не оживить, тем более что, если судить по написанному, экономическое соревнование — это конкуренция в условиях социалистического рынка. Когда этот рынок образуется, сама жизнь заставит предприятия и качество продукции повышать, и затраты на ее производство уменьшать.

Нужно ли в переходный период, то есть до образования рынка, специально организовывать экономическое соревнование? Все-таки да. Но не традиционными методами, а преимущественно экономическими.

Предвижу вопрос: «Значит, автор предлагает упразднить социалистическое соревнование между предприятиями?» Отвечаю определенно: нет. Ведь для чего нужно такое соревнование? Чтобы предприятия заботились не только о прибыли, но постоянно пеклись об охране окружающей среды, о благоустройстве территории, о развитии соцкультбыта, словом, обо всем, в чем заинтересован город, регион, наконец, обще-

ство в целом. Вот над организацией такого соревнования между предприятиями и нужно думать.

В пользу соцсоревнования говорит и то, что многим предприятиям придется выполнять госзаказ; часть из них еще долго будет работать по первой модели хозрасчета.

Конечно, в организации соцсоревнования внутри предприятия немало проблем. Ведь из-за того, что они долгие годы не решались, а живая творческая работа подменялась показухой, и погас огонь соревнования.

Проблема первая. Как возродить интерес к соревнованию? Наверное, главное здесь — предоставить каждому реальную возможность стать победителем, а для этого показатели результатов труда подразделений определять, соотнося достигнутое с их потенциальными возможностями. Что толку пытаться на лошади обогнать идущий полным ходом скорый поезд или жеребенку попробовать обскакать рысака! Результат известен заранее. А вот исход соревнования, в котором полученные тобой результаты сравниваются с твоими же потенциальными возможностями, предугадать трудно. Разумеется, речь не идет о соревновании на звание «Лучший по профессии». Там важен именно абсолютный результат. В соревновании мастеров высокой квалификации важно создать его участникам одинаковые условия.

В соревновании подразделений, на мой взгляд, смысл прежде всего в том, чтобы оценить, например, коллектив какого цеха больше постарался при выполнении порученных ему заданий. И оценивать старания нужно исходя из конкретных условий, в каких работает тот или иной цех. Ведь известно, что даже на одном предприятии уровень технического оснащения подразделений, подготовленность в них кадров и многое другое могут существенно различаться. Здесь одна для всех мерка не годится. И не стоит плохо оснащенные подразделения ставить в положение Эллочки Щукиной из «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, которая по части туалетов пыталась соревноваться с дочерью американского миллиардера Вандербильда.

Вообще с критерием результатов работы обращаться следует очень аккуратно. Известно, например, что в 20-е годы пожарным зарплату решили определять в зависимости от длительности тушения пожара. На первый взгляд, такой подход кажется естественным: чем дольше человек работает в сложных и опасных условиях, тем большим должно быть вознаграждение за его труд. О том, что получилось на практике, в свое время рассказал на страницах «Правды» известный фельетонист Г. Рыклин. Первый пожар был потушен за пятнадцать минут, и зарплата оказалась небольшой. Это заставило пожарных призадуматься. Следующие пожары они тушили в течение нескольких часов. Дальше — больше. В конце концов дело дошло до того, что, желая побольше заработать, пожарные подожгли дом... Не может быть сомнений, что руководитель, принимавший решение о правилах начисления зарплаты пожарным, исходил из самых благих намерений.

Ну а чтобы поддерживать интерес к соревнованию, его организаторам полезно иногда перечитывать «Приключения Тома Сойера» М. Твена, особенно то место, где рассказывается, как Том красил забор.

Вторая проблема заключается в том, как сравнивать результаты соревнующихся и определять победителя. В связи с этим вспоминаю письмо ткачихи В. Плетневой, опубликованное несколько лет назад в газете «Советская культура» под заголовком «Перемудрили». Действительно, чего только не делают организаторы соревнования, чтобы уйти от оценки результатов работы подразделений по существу. Желая избавить себя от размышлений и сомнений, придумали методики, которые



ПРОДОЛЖАЯ ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ

В апреле — мае 1989 года в Москве в помещении церкви Знамения, что на улице Разина, впервые за годы Советской власти состоялась выставка «Современная иконопись», организованная кооперативом «Юлиана». На выставке было представлено около 120 икон, вышивок, крестов, резных работ по дереву и камню и других произведений церковно-прикладного искусства. Часть экспонатов взята из действующих храмов.

Для многих любителей древнерусской живописи — отечественных и зарубежных — эта экспозиция стала откровением. Всем известны школы новгородская, псковская, тверская, ростовско-суздальская, Симона Ушакова — жесткая каноничность иконописной традиции никогда не мешала раскрытию истинного таланта и реализации творческой индивидуальности настоящих мастеров. Но то все — далекое прошлое, однажды, раз и навсегда, казалось, кончившееся... Массовый спрос на икону церковь удовлетворяла худо-бедно продажей безвкусных, аляповато раскрашенных фотографий так называемого духовного содержания. В дни празднования 1000-летия крещения Руси многие с удивлением узнали, что иконопись продолжает развиваться и мастера не перевелись. Например, в фильме «Храм», транслировавшемся по Центральному телевидению, зрите-

ли увидели иконы, создаваемые о. Зеноном...

Большинство участников выставки входит в недавно созданное общество мастеров церковного искусства «Изограф», возглавляемое священником-иконописцем о. Анатолием Волгиным. Общество ставит своей целью возрождение национальной иконописи, продолжение ее богатейших древних традиций.

Члены его — люди верующие, и работают они для Русской православной церкви, однако не в софринских патриарших мастерских, где девятичасовой рабочий день и поточный метод, а у себя дома, на свой страх и риск. Они сами покупают минералы у геологов, растирают их в порошок и делают краски, затем грунтуют левкасом деревянные доски и покрывают произведе-





ния олифой. То есть всё сами, от начала и до конца, стараясь соблюдать при этом древнюю технологию. Пишут иконы в основном для приходских храмов, заключая с ними договоры, но иногда и по личным просьбам верующих. Стоит такая икона дорого. И отчасти вот почему.

До недавнего времени изографы считались у нас... тунеядцами. Они не только не были защищены трудовым законодательством, но в уголовном кодексе была статья (лишь недавно ее исключили), запрещающая изготовление икон и иных предметов церковной утвари. Пытались они объединиться и в кооператив, однако Постановление Совмина СССР от 29 декабря 1988 года запретило любые шаги в этом направлении.

...Когда-то на Руси духовная живопись была наиболее распространенным, «демократическим» видом искусства. Иконы были в каждом доме, в каждом общественном здании. Некоторые московские соборы владели 3 тысячами икон, а то и поболе. Роль их в нравственной

А. Острецов. Иоанн Богослов

позволяют соизмерять всё и вся. Широко распространилась так называемая балльно-экспертная оценка. На промышленных предприятиях она используется для того, чтобы однозначно оценить выполнение коллективами цехов производственного плана, ритмичность в работе, качество продукции, состояние трудовой дисциплины, проведение мероприятий по технике безопасности, экономное расходование электроэнергии и многое другое.

Естествен вопрос: «Да разве можно все это характеризовать одним числом?» Напомню слова К. Маркса: «Что является предпосылкой всего лишь *количественного* различия вещей? Одинаковость их *качества* (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 117). Значит, подводя итоги, количественно можно характеризовать только качественно однородные стороны результатов работы. Как же мы могли забыть об этом!

Очень хорошо сказал Фазиль Искандер, что самая трогательная и самая глубокая черта детства — бессознательная вера в необходимость здравого смысла. И если в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. К сожалению, представление о том, что во всем следует искать здравый смысл, у нас пропадает. Ошибки домашнего воспитания — эти многочисленные родительские «так нужно» на наши «почему?»; «железная» логика ответов на вопросы молодого специалиста: «Нужно план давать, а не рассуждать»; «Раз нам планируют тонны, значит, так надо» — вот только часть причин тех печальных изменений, которые происходят с нашим сознанием.

Как и почему появляются вздорные методики, предназначенные для подведения итогов соревнования? Их создают люди, не знающие основ рациональной деятельности или, проще говоря, находящиеся не в ладах со здравым смыслом.

Под каким девизом организовывалось соревнование, например, в десятой пятилетке? — «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами!» Подумаем, как же было следовать ему: приналечь на количество, то есть увеличить объем выпуска продукции — пострадает ее качество; начать бороться за повышение качества — вопреки нашим пожеланиям объемы сократятся. То же самое с затратами. Намерены увеличить добычу нефти — придется вспомнить, что каждая дополнительная тонна станет обходиться нам все дороже.

Как сегодня оценивают итоги работы, например, за квартал? На промышленных предприятиях для каждого цеха рассчитывают 10—15 показателей. Эти показатели как бы отражают уровень работы по тому или иному направлению производственной деятельности. Происходит что-то вроде сопоставления достигнутого с желаемым. Каждый показатель получает значение от нуля до единицы. А затем начинаются нелогичные действия. Оценивается (обычно заблаговременно) значимость каждого показателя в баллах. Например, на одном из предприятий значимость показателя качества продукции оценивается в 10 баллов, стабильность кадров — в 4, а постановка дела безопасности труда — в 8 баллов. Перемножив рассчитанные показатели на их значимость, а затем сложив, получают суммарное число баллов, которое, как предполагается, характеризует результаты работы цеха за квартал. У кого это число больше, тот и победитель. Скрупулезный подсчет всех показателей — дело, конечно, трудоемкое. Зато потом легко объявить победителя.

Зачастую мнимая легкость определения цеха — победителя соревнования оборачивалась резким ухудшением морально-психологического климата в коллективе предприятия. Так бывало, когда однозначная числовая характеристика результатов работы цеха-победителя явно не сов-

падала со здравым смыслом, с логичными возражениями большинства работников. Наверное, многим и не раз приходилось сталкиваться с подобной ситуацией.

Было время, когда такой подход проник даже в школы. За сбор килограмма макулатуры начисляли, предположим, два балла, столько же — за пять килограммов металлолома; предусматривалось начисление баллов даже за оказание помощи инвалидам и престарелым. Достаточно было какому-нибудь шустрику за день до подведения итогов стать на перекрестке улиц и перевести через дорогу, желательно при свидетелях из родной школы, десяток-другой бабушек, как открывался путь в победители. И это без утомительного хождения по домам в поисках старых газет и журналов, ненужных сковородок и прохудившихся ведер. Слава богу, теперь ничего подобного нет. Если соревнуются, то в чем-то одном. И килограммы собранного железа с макулатурой не соизмеряют.

На днях в одном московском вузе мне показали методику проведения смотра-конкурса на лучшую студенческую группу. В ней предусмотрен расчет нескольких показателей качества ее работы. В их числе успеваемость, пропуски занятий, выходы на дежурства и на строительство, общественная активность студентов и т. д. Основой для подведения итогов является качественное сравнение показателей работы по отдельным направлениям. Так что сдвиги в положительную сторону тоже есть. Правда, не нашли пока действенных способов поощрения победителей. К сожалению, многие не спешат отказываться от методик, предусматривающих соизмерение несоизмеримого, когда, например, по итогам очередного семестра неудачи одних студентов могут быть компенсированы отличными оценками других.

Думаете, среди организаторов соревнования, действующих по-старому, нет людей, которые понимают нелогичность всех этих методик? Ошибаетесь. Однажды мне довелось проводить в Институте повышения квалификации занятия со специалистами — организаторами социалистического соревнования на предприятиях. Они согласились с критикой существующего положения, с интересом отнеслись к моим рекомендациям, собирались осуществить крутые перемены. Каково же было мое удивление, когда, спустя несколько месяцев, просматривая их выпускные работы, я ни в одной не обнаружил ничего нового. На мои недоуменные вопросы мои недавние слушатели отвечали: «Существует отлаженная в течение многих лет система организации и подведения итогов соцсоревнования. Ее недостатки мы видим. Чтобы систему перестроить, нужны очень большие усилия, прежде всего со стороны первых руководителей предприятий. Но их это мало волнует. В основном все делает профком. Ну а мы еле успеваем оформлять документацию, «экраны соревнования». Где уж тут что-то менять...»

Более обнадеживающим был разговор с группой руководителей медицинских учреждений. Большинство из них пришло к выводу: подход к организации соцсоревнования нужно изменить. По существующим положениям разработкой условий соцсоревнования обязан заниматься первый руководитель предприятия, учреждения. Значит, это с его благословения приобретают право на жизнь всякие, с позволения сказать, «методики» оценки результатов соревнования, которые предусматривают не только суммирование разных показателей, но и возведение их в степень или извлечение корня определенной степени! И все это ради получения одной числовой характеристики, якобы отражающей результаты работы подразделений. Для подобных расчетов даже используют ЭВМ. И ради чего все это делается? По-моему, чтобы уйти от очень

полезной для нашего общего дела работы по организации настоящего соревнования. Чтобы спрятаться за кипы отчетной документации: десказать, чего вы от меня хотите, вот цифры. Или так: «Вот результаты расчетов, которые выдала ЭВМ...»

Не раз приходилось слышать высказывания противников соревнования, говоривших, что в капиталистических странах его будто бы нет. В действительности положение иное. Зарубежные специалисты давно пришли к выводу, что человек живо реагирует на информацию, которая позволяет сравнить его работу с работой других. Особенно, если эта информация преподносится в необидной форме.

В преуспевающих западных компаниях и фирмах действует принцип: поощрять работников даже за небольшие достижения. У нас, например, принято наказывать за опоздание на работу без уважительной причины. А вот в одной западной компании все служащие, включая ее президента, еженедельно получают 10-процентную премию, если в течение всей недели вовремя приходят на работу. Премируют за регулярные занятия физкультурой, за то, что бросил курить, что не болеешь.

В известной американской фирме «Макдональд», славящейся низкими ценами и быстрым обслуживанием посетителей в ее закусочных, ежедневно премируют тех, кто работал лучше. Повара там соревнуются сначала внутри заведения, потом в масштабе региона, наконец, организуется всеамериканский конкурс. А проведение шумных торжеств по поводу производственных успехов той или иной группы рабочих и служащих стало нормой в западных фирмах и компаниях. У них подведение итогов работы — праздник. Они давно поняли, что ничто так не обязывает человека, как ощущение собственной нужности. И что руководить людьми следует так, чтобы пробуждать у них энтузиазм.

Так как же все-таки нам определять победителя соревнования? Ведь от нескольких показателей, характеризующих разные направления деятельности соревнующихся подразделений, никуда не уйти. Одним словом, та же самая проблема, что стояла перед Агафьей Тихоновной из гоголевской «Женитьбы»: как отобрать лучшего из нескольких претендентов на руку и сердце? У каждого свои достоинства и свои недостатки. Миллионы людей, находясь в подобной ситуации, сравнивают и делают выбор. И пользуются при этом в большинстве случаев подсознательно так называемой порядковой мерой. То есть расставляют возможные варианты с их характеристиками в определенном порядке, например, от лучшего к худшему. Что называется, по предпочтительности.

А что, разве руководители предприятий не могут так поступить? Есть, правда, одно существенное отличие. В первом случае из-за ошибки в оценке страдает узкий круг людей, а во втором — общее дело и трудовой коллектив. Но и тут есть выход. Пусть каждому руководителю поможет сам трудовой коллектив. Первый руководитель разрабатывает проект шкалы и передает его на обсуждение, а после этого шкалу уточняют и используют для сравнения результатов работы соревнующихся подразделений. О том, какие показатели следует использовать в такой шкале и как она должна выглядеть, нужно вести разговор отдельно. Главный вывод заключается в том, что метод оценки результатов по нескольким показателям существует. И он не связан с попытками соизмерить их, применяя так называемые коэффициенты относительной важности или баллы.

Наверное, стоит сказать и об отражении итогов соцсоревнования. Если оно организовано по-настоящему, то вряд ли можно переоценить значимость достоверной и оперативной информации о нем. Разумеется,

отражать итоги соревнования следует не так, как об этом говорится в анекдоте 60-х годов: один наш руководитель во время пребывания за рубежом якобы пустился наперегонки с тамошним лидером, но тот обогнал нашего. А вот как это осветила наша печать: дескать, оба лидера приняли участие в соревновании по бегу. Наш был вторым, а зарубежный пришел к финишу предпоследним...

И наконец, о третьей проблеме: как вдохнуть в социалистическое соревнование жизнь? Как сделать, чтобы организация соревнования стала насущным делом первого и всех остальных руководителей? Чтобы они поставили перед подразделениями конкретные и обязательно реально выполнимые задачи?

Тем, кто достиг высоких результатов и подошел к пределу возможного, не стоит увеличивать задания, а вот коллективам, которые еще не работают с необходимой нагрузкой, «прирост» можно дать соответствующий.

По каждому виду деятельности задачи желательно ставить по вариантам, например, для получения оценок 5, 4 и 3. Причем в этих задачах желательно предусматривать не только выполнение в срок плановых заданий и повышение качества продукции или работ, экономию ресурсов, но и создание условий для проявления инициативы, для развития творчества, обмена передовым опытом и многое другое. Без решения этой, быть может главной, проблемы, наверное, не будут иметь смысла усилия в решении первых двух проблем. Если организаторами соревнования не станут руководители производства. Если они не осознают, что во всяком деле главное — человек, нам нечего надеяться на успех.

Что получится, если первый руководитель не найдет возможности как следует подумать над задачами, которые нужно поставить перед соревнующимися подразделениями? Передаст свои полномочия по организации соревнования профкому, члены которого долго будут мучиться с этим делом сами и «терзать» других? Профком станет требовать у подразделений обязательства или творческие планы, если дело происходит, например, в НИИ. Начнется составление обязательств, которое нередко сводится к подновлению прошлогодних. На этом этапе впереди обычно те, кто напишет красивее. Когда же наступит время подводить итоги, пойдет кропотливая счетная работа по выявлению победителей...

Нередко руководство оставляет за собой право устанавливать значения некоторых коэффициентов. Это дает им возможность выводить вперед те подразделения, которые, по их мнению, этого заслуживают. Спрашивается, зачем тогда напускать туман с методикой, отвлекать людей от настоящего дела? Не проще ли взять всю ответственность за оценку на себя?

Если же все от начала до конца отдано на откуп профкому, то ему можно посочувствовать. Пойдет формализм чистой воды. А сколько будет потом претензий к членам профкома!.. Наверное, такое «соревнование» лучше не проводить совсем. По крайней мере, потери рабочего времени сократятся. И настроение у людей из-за формализма не будет портиться.

На работе мы проводим значительную часть нашей жизни. И от того, насколько нам интересно работать, в немалой степени зависит, чувствуем мы себя счастливыми или нет. Давайте общими усилиями превратим наши предприятия и организации в арены честного состязания ума и сил людей. Но не будем при этом забывать и о взаимопомощи, и о доброте, и о строгой товарищеской требовательности. Думаю, что тогда действительно жить станет лучше и веселее.

Александр Солженицын

МИР И НАСИЛИЕ

История борьбы за возвращение на родину произведений Александра Исаевича Солженицына и отмену позорного решения о лишении его советского гражданства за «измену родине» — продолжительна и драматична. Когда-нибудь, и скоро наверное, она будет описана и обнародована. В ней найдут место и многочисленные письма-ходатайства наших крупнейших деятелей культуры и науки в самые высокие инстанции, и чудом прорывавшиеся в печать, несмотря на жесточайшее табу, слова правды об этом писателе и человеке, и десятки вечеров, прошедших по всей стране в честь 70-летия Солженицына, и всякого рода «интегральные ходы» (выражение О. Мандельштама), сделанные несколькими мужественными людьми,— без всего этого не были бы одержаны столь значительные победы в благородной и справедливой борьбе.

Победы есть. Речь идет о восстановлении А. И. Солженицына в Союзе писателей СССР и о начале широкой, многими журналами и издательствами, публикации его сочинений. Хочется верить, что и восстановление его в советском гражданстве — не за горами.

Статья А. Солженицына «Мир и насилие» была набрана уже больше полугода назад, несколько раз ставилась в номер, однако читатели «Горизонта» познакомятся с ней только сейчас, хотя конечно же самая рубрика, рассказывающая об истории гласности в нашей стране, должна была по праву открываться именем Александра Солженицына.

Написана статья в 1973 году, незадолго до высылки Александра Исаевича из СССР, и по вполне конкретному поводу. Но, читая ее сегодня, даешься диву, насколько ее основные идеи созвучны нашему времени, насколько тесно они соприкасаются с нашими болями и думами.

1

Потрясённые двумя кряду грандиозными мировыми войнами, наши последние поколения совершили эмоциональную ошибку или сдвиг: угрозу мирному, справедливому, доброму существованию человечества стали видеть почти исключительно в войнах, чем и укрепилось основное противопоставление «мир — война». И созывались весьма шумные и весьма односторонние конгрессы, избирались Всемирные Советы. И деятели, посвятившие усилия (кто искренне, а кто демагогически) предотвращению новых войн (иногда — некоторого разряда этих войн и в пользу войн другого разряда), получили или присвоили себе звание «сторонников мира».

Но такое звание гораздо шире взятой ими задачи. Движение «против войны» это далеко ещё не всё движение за мир.

Противопоставление «мир — война» содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется *части* антитезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда

не прекращённого многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

МИР — НАСИЛИЕ.

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что «мир неделим», что малое нарушение его (однако не только военное!) уже нарушает весь мир,— то *так же неделимо и насилие*. И захват *одного* заложника и *один* угон самолёта есть такая же угроза всеобщему миру, как орудийный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны.

Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на «допустимые» и «недопустимые», мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно ту форму насилия, которую применяют *они*.

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряжённое относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия,— вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И, разительно! — всемирная гуманная организация не смогла произнести *даже нравственного осуждения* терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? и где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: «когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение».

Серьёзно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооружённых, часто переодетых в цивильное военных. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и, может быть, признать священным «партизанством». (Дошло до юмористического уже термина «городские партизаны» в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания своей ли территории или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован *не* добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР. Массовые крестьянские движения 1920—21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разливе на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас *бандитскими*, и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов «бандитами».

По той же неделимости мирового насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство бывает вызвано постоянными силовыми беззаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием*.

Такое устоявшееся перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства успевающее принять все «юридические» формы, кодифицировать толстые своды своих насильственных «законов» и накинуть мантии на плечи своих «судей», есть грознейшая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это сознаётся. Такое насилие уже не нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого. Такое насилие разрешает себе выглядеть и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлющим.

Но масштабы такого насилия можно примерно оценить по подсчётам профессора статистики И. А. Курганова (они опубликованы на Западе, исследователям доступно проверить их основательность). Советский опыт уничтожения оценивается им в 66 миллионов смертей, то есть очевидно *больше, чем потеряли все воевавшие страны, вместе взятые, в двух мировых войнах вместе*.

Такие цифры полезны тем, кто преуменьшает значение «вялых», «мирных» форм насилия перед «горячими» войнами.

2

Ошибка в том, какой же объём включён в понятие «мир», именно — эмоциональная, я не оговорился. Это часто так: не потому мы ошибаемся, что нам разглядеть истину трудно, да она даже на поверхности лежит, а потому ошибаемся, что приятнее и легче всего вести познание в согласии именно с чувствами, особенно — эгоистическими. Истина давно была и показана, и доказана, и объяснена, но оставлена без внимания и сочувствия, подобно «1984» Оруэлла по «всеобщему заговору лести» (выражение самого автора).

Достоверно доказанные зверские массовые убийства в Гуэ были замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо *в ту сторону* лилась симпатия общества и не хотелось нарушать этой инерции. Было досадно только, что эти сведения просочились в свободную печать и на время (совсем короткое) причинили неловкость (совсем небольшую) неистовым защитникам северовьетнамской системы. Неужели можно поверить, что порхающий мотылёк Рэмзи Кларк, перед тем всё же министр юстиции, просто «понятия не имел», просто догадаться не мог, что военнопленный, который подаёт ему бумагу, нужную политическим целям Кларка, перед тем подвергнут пытке? (Он мог только формы не знать: что именно за сломанную руку верёвкой через блок в потолке, поднимая и опуская.) Да в Соединённых Штатах никто это Кларку и в упрёк не поставил, это же «вотергейт». С таким же нравственным перекосом мог осмелиться лидер английских лейбористов поехать в чужую страну (разумеется, не африканскую, этого бы ему не спустили! — но в Чехословакию) и там произносить самовольные «прощения» правительству, не спросясь местного населения. А когда в 1968 единственные норвежцы предложили по свежим августовским следам не всех допустить к Олимпийским играм,— с тем же нравственным окривением большинство олимпийцев стыдливо замерло, зажмурилось, забормотало о высоких интересах спорта и коммерции. Но какой стеной они выстраиваются, если нужно протестовать *в другую сторону!* Да разве так, как генерала Григоренко, смогла б четыре года держать и пытать негри-

не прекращённого многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

МИР — НАСИЛИЕ.

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что «мир неделим», что малое нарушение его (однако не только военное!) уже нарушает весь мир,— то *так же неделимо и насилие.* И захват *одного* заложника и *один* угон самолёта есть такая же угроза всеобщему миру, как орудийный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны.

Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на «допустимые» и «недопустимые», мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно ту форму насилия, которую применяют *они.*

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряжённое относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия,— вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И, разительно! — всемирная гуманная организация не смогла произнести *даже нравственного осуждения* терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? и где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: «когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение».

Серьёзно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооружённых, часто переодетых в цивильное военных. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и, может быть, признать священным «партизанством». (Дошло до юмористического уже термина «городские партизаны» в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания своей ли территории или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован *не* добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР. Массовые крестьянские движения 1920—21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разливе на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас *бандитскими,* и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов «бандитами».

По той же неделимости мирового насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство

бывает вызвано постоянными силовыми беззаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием.*

Такое устоявшееся перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства успевающее принять все «юридические» формы, кодифицировать толстые своды своих насильственных «законов» и накинуть мантии на плечи своих «судей», есть грознейшая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это сознаётся. Такое насилие уже не нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого. Такое насилие разрешает себе выглядеть и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлющим.

Но масштабы такого насилия можно примерно оценить по подсчётам профессора статистики И. А. Курганова (они опубликованы на Западе, исследователям доступно проверить их основательность). Советский опыт уничтожения оценивается им в 66 миллионов смертей, то есть очевидно *больше, чем потеряли все воевавшие страны, вместе взятые, в двух мировых войнах вместе.*

Такие цифры полезны тем, кто преуменьшает значение «вялых», «мирных» форм насилия перед «горячими» войнами.

2

Ошибка в том, какой же объём включён в понятие «мир», именно — эмоциональная, я не оговорился. Это часто так: не потому мы ошибаемся, что нам разглядеть истину трудно, да она даже на поверхности лежит, а потому ошибаемся, что приятнее и легче всего вести познание в согласии именно с чувствами, особенно — эгоистическими. Истина давно была и показана, и доказана, и объяснена, но оставлена без внимания и сочувствия, подобно «1984» Оруэлла по «всеобщему заговору лести» (выражение самого автора).

Достоверно доказанные зверские массовые убийства в Гуэ были замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо *в ту сторону* лилась симпатия общества и не хотелось нарушать этой инерции. Было досадно только, что эти сведения просочились в свободную печать и на время (совсем короткое) причинили неловкость (совсем небольшую) неистовым защитникам северовьетнамской системы. Неужели можно поверить, что порхающий мотылёк Рэмзи Кларк, перед тем всё же министр юстиции, просто «понятия не имел», просто догадаться не мог, что военнопленный, который подаёт ему бумагу, нужную политическим целям Кларка, перед тем подвергнут пытке? (Он мог только формы не знать: что именно за сломанную руку верёвкой через блок в потолке, поднимая и опуская.) Да в Соединённых Штатах никто это Кларку и в упрёк не поставил, это же «вотергейт». С таким же нравственным перекосом мог осмелиться лидер английских лейбористов поехать в чужую страну (разумеется, не африканскую, этого бы ему не спустили! — но в Чехословакию) и там произносить самовольные «прощения» правительству, не спросясь местного населения. А когда в 1968 единственные норвежцы предложили по свежим августовским следам не всех допустить к Олимпийским играм,— с тем же нравственным окривением большинство олимпийцев стыдливо замерло, зажмурилось, забормотало о высоких интересах спорта и коммерции. Но какой стеной они выстраиваются, если нужно протестовать *в другую сторону!* Да разве так, как генерала Григоренко, смогла б четыре года держать и пытать негри-

тянского деятеля Южно-Африканская Республика? Да буря мирового негодования давно б сорвала уже крышу с той тюрьмы!

В 1966 английский журнал с простора своей неограниченной свободы не счёл бестактным назвать «честолюбивым» замысел М. Михайлова создать такой же точно свободный журнал в Югославии. А немецкий журнал из своей безмятежности рассудил, что замысел Михайлова есть «преждевременная и дурная услуга либерализации»! (После сокрушения Михайлова мы видим, как, уже не встречая дурных услуг, либерализация широко разлилась по Югославии...) Или вот недавняя отчаянная смелость новозеландских и австралийских протестов против французских ядерных испытаний,— а отчего же не против китайских, гораздо более серьёзных? Только ли потому, что при необъявленных сроках велики расходы на содержание контрольного корабля? Убеждённо скажу: кроме окривения — ещё просто из малодушия, ибо из экспедиции в китайскую пустыню или к китайским берегам никто бы не вернулся — и они *знают* это. Лицемерие многих западных протестов в том и состоит: протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадёшь под осуждение «левых» кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — распространённейшие ныне формы «нейтралитета» или «неприсоединения»: одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием.* А как назовем это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекос Запада виден только издали, а вблизи не виден?

Этим густым лицемерием несёт и от сегодняшней американской политической жизни, от перекривленных зрением вождей сената и от бренчащего «вотергейтского дела». Нисколько не защищая ни Никсона, ни республиканскую партию, как не изумиться этой притворной шумной ярости демократов? А что ж они думали демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия, как *борьба интересов,* не выше, чем интересов, борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой,— что ж, она не была полна обоюдных обманов и злоупотреблений в прежних избирательных кампаниях, только, может быть, не на уровне электронной техники и счастливым образом не вскрытых?

Меня лично, все эти годы занятого исследованием русской жизни перед её крушением, поражает невозможное, кажется, сходство русской монархии в её последние годы и, например, республиканских Соединённых Штатов в их нынешние, смею предсказать, тоже последние годы перед великим расстройством. Сходство не в материально-экономической сфере и не в социальной структуре, но главней того: в психологической безудержности, в эмоциональной безоглядности политиков. Так, весь яростный штурм демократов вокруг «вотергейтского дела» кажется пародией на яростный и опрометчивый штурм кадетов в 1915—16 против Горемыкина — Штюрмера.

Это одна из загадок иррациональной истории: каким образом Россия в конце XIX века, ещё индустриально невооружённая, ещё косная в своём медлительном существовании, получила такой импульс, совершила такой динамический скачок, что сейчас русский исследователь смотрит на нынешнюю западную общественную жизнь как «назад», как в «прошлое». И до грусти смешно наблюдать, как общественные течения, деятели и молодёжь Запада с опозданием в 50 и 70 лет повторяют «наши» идеи, заблуждения и поступки.

И, наоборот, можно согласиться, как утверждают многие и многие: что происходящее в СССР есть не просто «происходящее в одной из стран», но есть *завтра человечества,* и потому к своим внутренним процессам достойно полного внимания западных наблюдателей.

Нет, не трудности познания затрудняют Запад, но нежелание знать, но эмоциональное предпочтение приятного — суровому. Руководит таким познанием дух Мюнхена, дух ублажения и уступок, трусливый самообман благополучных обществ и людей, потерявших волю к ограничениям, к жертвам и к стойкости. И хотя этот путь *никогда* не приводил к сохранению мира и справедливости, всегда бывал попран и поруган,— человеческие чувства оказываются сильнее самых отчётливых уроков, и снова и снова расслабленный мир рисует сентиментальные картины, как насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы, а пока можно продолжать беззаботное существование.

И «самолётный» и всякий иной терроризм десятикратно разлился именно потому, что перед ним слишком поспешно капитулируют. А когда проявляют твёрдость, то и побеждают его всегда, заметьте.

От большого объёма и сложности того, что составляет *мир,* решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дипломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды немирности протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так *мирно,* что могут восприняться почти как «традиционный народный обычай». И потому *сосуществование* на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только без войн, этого мало! — но и *без насилия:* ка́к жить, что́ говорить, что́ думать, что́ знать и чего не знать...

Не знаю, как в Европе, а в нашей стране вдоль всех железных дорог выложено камешками: «миру — мир!» и «за мир во всём мире!» Можно принять эту пропаганду как очень полезную, если она будет означать: чтобы во всём мире не только не было войн, но прекратилось бы и всякое *внутреннее* насилие.

Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей,— надо против «тихих», спрятанных видов насилия вести борьбу, никак не менее строго, чем против «громких». Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договорённости.

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетённых, покорённых и убиваемых.

Такие борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали,— тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не даёт нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей на Западе. У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова.

3

Распространившаяся ошибка в определении мира как «анти-войны», а не как «анти-насилия» естественно привела и к ошибочным оценкам заслуг отдельных деятелей в борьбе за мир.

Лучшим борцом за мир, собирающим лавры в аэропортах и в парламентах, начинает пониматься тот, кто любой ценой отодвигает дыхание войны — «горячей» или «холодной» (точней бы назвать ее «ругательной», в ней Запад всегда проигрывает, ибо его фразы и утверждения подвержены анализу критики; или назвать войной нервов, соревнованием упорств,— тем более Запад обречён всегда проигрывать); лю-

быми уступками добивается прекращения газетной брани, создаёт передышку для торговли и мнимого благоденствия. Напротив, люди, неколебимо ставшие на пути глобальной опасности миру со стороны всех видов насилия, иногда рискуют быть причисленными даже к «поджигателям войны», а то и расчётливо оклеветываются так.

Этот сдвиг в понимании, *чему же именно* противостоит мир, сказывается и на деятельности Нобелевского комитета мира. Его суждения и решения, с одной стороны, естественно определяются настроениями мировой общественности, но с другой стороны, так же естественно, ответно формируют их, дают критерии. И поэтому ответственность Нобелевского комитета мира в избрании лауреатов — исключительно велика. Даже когда Нобелевский комитет не присуждает премии никому, это тоже вырастает в значение весомое: что заслуги и полезность деятельности предыдущего лауреата столь велики, что с ними не идут в сравнение ничьи другие. Ещё опаснее ложное направление оценок, например... взять подальше пример,— как если бы в 1939 году (помешала мировая война, а в октябре 1938 было уже по времени поздно) присудили Нобелевскую премию мира Невилю Чемберлену. Высшее недоумение и разброд в оценках вызвало бы сегодня и увенчание такого деятеля, который, может быть, отчасти и способствовал ослаблению мировой напряжённости методами «неприсоединения», но у себя в стране известен как подавитель свободы и национальных движений.

Если нобелевские премии увенчивают многолетние усилия отдельных людей, ещё укрепляя авторитет этих людей для их последующей деятельности, то в не меньшей степени достойный или недостойный выбор кандидатов возвышает или подрывает авторитет самого института нобелевских премий.

Пользуясь правом нобелевского лауреата выдвигать кандидатов на нобелевские премии и не имея возможности обратиться к Нобелевскому комитету иначе, как посредством этой статьи в газете «Афтенпостен»,— я прошу считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение Нобелевской премии мира 1973 года.

Обоснование этого я, по сути, уже дал в своём недавнем интервью газете «Монд»: неутомимое многолетнее и жертвенное (лично ему опасное) противодействие А. Д. Сахарова — настойчивому государственному насилию над отдельными личностями и группами населения. Такую деятельность, в понимании, развиваемом данною статьёй, и следует оценить как высший вклад в дело всеобщего мира, вклад не показной, не призрачный, но самый основательный: малыми индивидуальными силами героически задерживать могущественное насилие, а значит — укреплять всеобщий мир.

И пусть Нобелевский комитет не испытает сомнения из-за прошлых, слишком больших достижений Сахарова в области вооружения, не ощутит в том парадоксальности: в осознании человеческим духом своих прежних ошибок, в очищении от них, в искуплении их — как раз и содержится высший смысл пребывания человечества на Земле.

5 сентября 1973
Москва

«КАК НЕДАВНО И, АХ, КАК ДАВНО...»

В пятом номере нашего журнала за 1988 год были опубликованы стихи Александра Галича. Подготовили их к печати критик Нина Крейтнер и брат поэта Валерий Гинзбург.

Валерий Аркадьевич Гинзбург — заслуженный деятель искусств РСФСР, оператор фильмов «Солдат Иван Бровкин», «Когда деревья были большими», «Живет такой парень» («Золотой лев Святого Марка» — главный приз Венецианского фестиваля), «Ваш сын и брат» (Государственная премия РСФСР), «Странные люди», «Комиссар» (ряд международных премий), «Держись за облака» (выговор по партийной линии «за непочтительное отношение к революционной теме»), «Пятнадцатая весна», «Соучастники» и др.

Недавно в Доме кино состоялась премьера полнометражной художественно-публицистической картины «Александр Галич. Изгнание».

После премьеры «соучастники» этого фильма Н. Крейтнер и В. Гинзбург побывали в редакции «Горизонта», где между ними состоялся интересный, на наш взгляд, диалог. Фрагменты его мы предлагаем вниманию читателей.

— Валерий Аркадьевич, в интервью — советским или зарубежным журналистам — вы всегда очень увлеченно и увлекательно говорите о вашей профессии, о людях, с которыми работали, и никогда не говорите о себе.

— Наверное, это свойство вообще всякого человека. Я глубоко воспринимаю принцип американской демократии, когда выходит человек и говорит: «Голосуйте за меня, я такой-то, я сделал то-то и сделаю еще то-то», но до конца я такому человеку все-таки не верю. Это хороший способ создать контактную атмосферу в аудитории, но не более того.

— И все же в жизни каждого есть вещи, о которых никто, кроме него, не может свидетельствовать...

— Об этом потом когда-нибудь. А сейчас — о том, почему такое колоссальное впечатление произвел на всех Съезд. Не только из-за животрепещущих вопросов, но и потому, что мы все видим! Для меня это подтверждение моей чертовой мысли о том, что «в начале было изображение»! Я не верю людям, которые в борьбе за правду размахивают дубинкой, а их видно! Когда они выходят на трибуну, какие бы правильные слова они ни говорили, видно, что это демагогические слова, потому что сегодня им так удобно. А когда на трибуну выходит Сахаров и я вижу его страдающие глаза, мне передается его боль и мне делаются понятны и близки его мысли и чувства. Даже когда я его не слышу, в тот момент, когда выключили микрофон!

— Когда вы это говорите, вы говорите как кинооператор или как гражданин?

— Я в своей профессии никогда не разделял эти два понятия, поэтому я всегда такое значение придавал той теме, за которую брался

в своей работе. Что, мне кажется, вызывает наибольший восторг в человеке — это совпадение твоего глубинного, чего-то из области ощущений, чего ты еще не можешь выразить, с явлением этого, с конкретностью. В моем деле — это совпадение чувств, мыслей зрителей с тем, что на экране.

— То, что произошло вечером 2 июня в Доме кино на премьере нашей картины «Александр Галич. Изгнание», когда весь зал встал и аплодировал, когда на экране появился Андрей Дмитриевич...

— А днем 2 июня... эта страшная толпа, которая кричит: «Распни его!» — даже, подчас, без осознания того, что она кричит. Это продолжение той самой чудовищной бездуховности, в которую мы влезли так глубоко. Это то, почему при честном анкетировании многие высказываются за смертную казнь, потому что мы потеряли ощущение ценности человека, мы воспринимаем «явление». Человек как личность выпал из нашей системы координат, поэтому сегодня главное — вернуть человеку его достоинство и веру в самого себя. Человек сам в себя не верит — вот в чем вся беда сегодня. Конечно, я понимаю, что внутри общества существуют эвересты духа, и это не обязательно великие ученые или художники, это может быть любящая женщина. Когда-то на съемках я услышал великую формулу: «Очень легко любить все человечество, значительно труднее полюбить соседа за стенкой». Мы привыкли к тому, что любить человечество очень удобно, совесть не мучает! Мы часто сегодня говорим о покаянии, оно всегда должно быть в человеке, но мне дороже сейчас понятие «совесть».

— Но какой смысл вы вкладываете в понятие «совесть»?

— У Галича есть строчки: «Непротивление совести — удобнейшее из чудачеств». Для меня это связано с понятием предательства: одного человека — другим, группой людей — одного, то, что произошло на съезде,— предательство Сахарова. Никто не встал, не выступил в его защиту. Наверное, были соображения тактического, стратегического порядка, что, может быть, не надо разжигать страсти, но все равно произошло предательство, нравственное, человеческое. Есть, наверное, вещи, которые требуют дальнейшего изучения, исторической дистанции, а нравственное предательство — оно не требует временно́го осмысления, оно очевидно сразу. И таких примеров хватает в нашей истории.

— Мне не очень понятно, почему вас, художника, влюбленного в фантазию, образность, так волнует политическая история нашей страны?

— Знаешь, у меня не вызывает доверия человек, который отрывает себя от своих корней — духовных, социальных, словом — генетических. Я очень уважаю эту науку. Мы выросли в иных социально-общественных условиях, чем ты. Это как угольная пыль в порах лица шахтера, сколько ни умывайся — сидит. Мы очень нешироко мыслим, очень узконаправленно. Мы все время живем по принципу: «этого не может быть потому, что этого не может быть никогда». А потом приходит человек, который не знает (или не хочет знать!), что этого не может быть, и делает великое открытие. И нам нравится этот человек, но мы сами стать вровень с ним подчас не в состоянии. А при этом в нас до сих пор сидит: «Если не ты, то кто?!» И отсюда это желание что-то отстаивать, что-то доказывать, идти на собрание, убеждать вот это «агрессивно-послушное большинство». Я не люблю слово «поколение», но к людям моего возраста, созревшим во время войны, оно применимо.

— А к сегодняшним молодым?

— Нет, мне кажется, существует невероятное расслоение, причем доминанта этого расслоения нравственная: «Не убий, не предай!» В моем поколении много людей, у которых психика поражена, они не могут жить духом, свободой... А самоубийство — это для людей очень сильных, я в этом убежден.

— Вот куда мы забрались...

— Когда говорят о нравственности, я часто думаю, что психология большинства — это страшная штука. Много лет назад я видел документальную картину о развитии психологии ребенка. Там был такой эпизод: всем детям дали сладкую кашу, а одному ребенку — соленую. И каждого спрашивают: «Сладкая каша?» Все дети отвечают: «Сладкая». И тот малыш, у которого соленая, он весь скривился от этого, но когда его спрашивают, он отвечает: «Сладкая». Вот когда начинается калечение!

— Вы говорите об этом так, будто это ваша личная вина...

— Самая страшная вина, как мне кажется, опять-таки названа в стихах Галича — «Промолчи — попадешь в первачи...» Почему тогда, в августе 1968 года, с Н. Горбаневской, с Л. Богораз не вышли на площадь сотни тысяч, которые думали так же?

— Почему вы думаете, что сотни тысяч, может быть, гораздо меньше?

— Тебя не было в Москве, и ты не помнишь, что город в эти ночи не спал, несчастье толкнуло людей друг к другу, сблизило многих, а на площадь вышли семь человек. Почему? Страх, не за себя даже, страх, который существует сегодня генетически. Как рассказывала моя мама, страх начался в гражданскую войну — сначала боялись петлюровцев, потом органы надзора, потом НКВД, потом уже и начальника отдела кадров. Страх проедал все, уровень этого страха мельчал, начинали бояться соседа за стенкой.

— А как с этим страхом соотносится потребность, необходимость убеждать «агрессивно-послушное большинство»?

— Кончились иносказания, которыми прежде говорило искусство, появилась возможность высказать все прямо. Ведь общество подошло к порогу, за которым уже... А вообще великое достижение человеческого духа — это юмор. Мы все знаем выражение «перейти Рубикон». И когда Феллини в своем фильме «Рим» показывает этот ручеек, который мальчишки переходят, не замочив штанов, это вызывает гигантскую цепь ассоциаций, но прежде всего — смех, потом грусть — до чего все измельчало. Вот и живем — «здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем...» Стихи Галича очень точно определили уродливые и болевые точки общества, наверное, действительно его поэзия этим велика (не только этим, конечно). Но когда он приходил домой петь, страх владел многими, мама — та просто говорила: «Валенька, закрой форточку».

Еще одно «киновпечатление», совсем другое, сильная зарубка в памяти, мучительная и болезненная,— эпизод в фильме Ежи Ковалеровича «Мать Иоанна от ангелов», для меня — ключевой, хотя он диалоговый, а я всегда прежде всего воспринимаю эмоционально зрительный ряд. Герой фильма, ксендз, уже в полном душевном раздрызге приходит к старику и говорит: «Что мне делать? В меня бес вселился». Старик ему отвечает: «В тебя не бес вселился, тебя ангелы покинули». Я часто думаю о том, что нас ангелы покинули. Что прежде всего я имею в виду? Кто такие ангелы? Сначала мать, которая часто физически покидает своего ребенка. Потом в роли ангела должен выступить отец, особенно для мальчика, а его часто нету. Потом учитель, фигура для цивилизованного общества одна из основополагающих, особенно

учитель-мужчина для мальчишек, предмет восторга, обожания, подражания. (Но, конечно, учитель — это не тот, «кто знает, как надо», а кто ищет вместе с тобой.) Я однажды в восторге написал своему бывшему учителю такие слова: «То общество, которое на вершину своей социально-общественной пирамиды поставит учителя, достигнет небывалых высот». Когда мы хотели делать картину по «Остановите Малахова» В. Аграновского, мы поехали в Икшинскую детскую исправительную колонию особо строгого режима. Это одно из самых сильных потрясений в моей жизни.

— Почему?

— Потому что это — дети. Дети — преступники. Дикое противоречие. И оно там во всем: классы как классы, биологический кабинет лучше, чем в обычной школе, спальные комнаты как в интернате, на территории — дорожки, посыпанные песком, футбольный мяч, надписанный и подаренный знаменитым Яшиным... А все это — за колючей проволокой, и каждый час воет сирена. Эти несоответствия и потрясают. А картину снимать нам не дали, и это при том, что пьеса Аграновского шла уже в 120 театрах страны. Тогдашний председатель Госкино Ф. Т. Ермаш говорил, что, мол, документальную картину — пожалуйста, это частный случай (знаменитые «отдельные недостатки»), а художественную — нет, может получиться обобщение. Примерно в то время С. А. Герасимов сказал: «Мне наш кинематограф напоминает парикмахера, который во время бритья спрашивает клиента: «Не беспокоит?» Только бы не побеспокоить душу, убаюкать, боязнь сказать правду, я думаю,— это одна из причин потери нравственных ориентиров.

— Сейчас говорят правду, а воз нравственности и ныне там...

— Но ведь ориентиры уже потеряны, их надо возвращать. Многие наши беды — от незнания.

— Вы полагаете, что, если бы люди все знали, они сразу стали бы хорошими, добрыми, нравственными, терпимыми?

— Нет, конечно...

— И все же, слушая вас, возникает ощущение, что в вашей жизни нравственные ориентиры были и, вероятно, сегодня есть. И поскольку эпидемия критики нашей жизни растет, мне интересно услышать о существовании — в далеком прошлом или еще не до конца народившемся настоящем — хотя бы для вас, неких реальных позитивов.

— Я не могу сейчас подобрать аналога тому миру, в котором я жил. Мир Кривоколенного переулка, где я родился, был замкнутым, я вроде бы ничего не знал о том, что происходило вовне, но при этом сопричастность этому вроде бы незнаемому была удивительная. Мы всем двором, взрослые и дети, наблюдали подъем аэростата — зрелище само по себе ничего не представляло, но сопричастность событию создавала некую «ауру» естественной общности, что ли. В начале Кривоколенного, почти на углу Мясницкой, была стоянка извозчиков, а рядом — два котла для варки асфальта. В них ночевали беспризорники, в тепле. Мы, приготовишки, упоенно пели песню про «финский нож» или частушку: «Когда Сталин женится, черный хлеб отменится»,— и нам казалось, что мы приобщаемся к их беспризорной вольности. Учились мы в здании бывшей гимназии в Колпачном переулке, занятия для нас начинались в какое-то межучное время, часов в 12, и мы, сидя на полу в ожидании, когда старшие освободят классы, все это распевали. Когда мне было лет шесть, самым большим счастьем было тайком (родители не разрешали одному выходить даже на Мясницкую) убежать на Лубянскую площадь к китайгородским книжным развалам. И пусть тогда не произошло еще знакомства с «книгой — источником знаний», но через зрительный ряд, через ощущение, тогда не осознанное, вошло уважение на всю жизнь, любовь к книгам, к истории. И не только у меня, у всех мальчишек это осталось навсегда, независимо от профессий, которые они потом выбрали. Мы все, мальчишки нашего двора, знали, в каком доме мы живем, в доме поэта Дмитрия Веневитинова, где Пушкин впервые читал «Годунова». Мы не знали стихов Веневитинова, не все еще умели читать, но Пушкин, «Борис Годунов» — это нам было понятно. Понятнее, чем частушки и блатные песни.

— Многие взрослые до сих пор не все понимают, а вы, тогда мальчишками, уже понимали?

— Не знаю, мне так казалось. Имя Пушкина никогда не было загадкой, я рос рядом с его портретами.

— Они висели у вас дома?

— Нет, в доме моего дяди Левы, профессора Московского университета по кафедре российской словесности, Л. С. Гинзбурга, на Моховой. Его кабинет был завешан портретами Пушкина — Кипренского, Гау, Тропинина, маленький Пушкин в лицее. Первая моя книжка была «Сказки Пушкина» в иллюстрациях Билибина. Я еще не умел свободно читать, но знал наизусть «В тридевятом царстве... С молоду был грозен он». Я, конечно, не помню знаменитого вечера 1926 года, который дядя Лева сотворил в Кривоколенном, но все в его доме на Моховой было чудесно и привлекательно для меня необычайно. В комнате тети Мани, где меня укладывали, когда в доме собирался народ (литературные четверги, по праздникам устраивались шарады, литературные игры, много музицировали), на меня смотрели портреты Достоевского, Чехова и писателя со странной фамилией Бьёрн Бьёрнсон. Маленький портрет Надсона (я просто сейчас мысленно вижу, как они висели), портрет Оскара Уайльда — человека с бабьим лицом, а на столике, полутуалетном-полуписьменном, стоял портрет без всякой надписи (те имели надписи), и фамилия мне в те годы ничего не говорила — это был портрет Плеханова. А над кроватью, где меня укладывали, стоял гипсовый бюст Данте, который в конце концов однажды на меня свалился.

Дом был сплошным таинством — в прихожей стояло большое чучело волка, хотелось его потрогать, было страшно, но не меньший восторг вызывала дровяная колонка в ванной для подогрева воды. В Кривоколенном горячей воды не было, грели воду на керосинках и примусах, мылись в корыте в комнате, а на Моховой была настоящая ванна, на колонке было написано «фирма Грец» (по-русски). Когда мы детьми приходили на Моховую, то обязательно «принимали ванну». Дядя Лева мне казался со своей седой бородой безумно старым, папа казался рядом с ним очень молодым, а он умер в 1934-м, и ему было всего 54 года, умер от сыпного тифа в тот год, когда в Москве даже намека на эпидемию не было, на 14-й день. Врач сказал: «Он умер потому, что не хотел жить». Это случилось через полтора месяца после ареста его сына, нашего любимого старшего брата Виктора. И к этому крушению, к этой потере людей, мне бесконечно близких не только в силу родства, прибавилось последнее в ту пору крушение. В марте 1934 года дом на Моховой дал огромную трещину по брандмауэру.

— А почему он дал трещину?

— Из-за строительства метро. Это была первая линия «Сокольники» — «Парк культуры». Жильцам дома дали сутки на переселение. Я плохо помню день, когда мы выносили вещи, и очень хорошо помню ночь. На улице прямо на тротуаре лежали какие-то связанные узлы,

баулы, но наибольшую остроту потери я ощутил, когда начали выносить книги. Наверное, это был первый в жизни момент такой остроты ощущения потери. Книги погрузили на извозчика и отвезли в дом Евдоксии Федоровны Никитиной (в новое жилье они просто не поместились бы все), большая часть библиотеки, и главным образом архив дяди Левы (у дяди Левы были четверги на Моховой, а Никитинские были субботники). Там, во Вспольном переулке, 14, где сейчас фонды Литературного музея, я, уже взрослым, увидел аккуратно расставленные в открытых стеллажах книги из библиотеки дяди Левы. Потом, много лет спустя, во время работы над фильмом «Александр Галич. Изгнание», в архивах кинохроники обнаружились кадры, когда взрывали дом на Моховой. Это последняя встреча с домом моего детства. И я вновь ощутил это физическое крушение. Почему я так много говорю об этом доме, об этой семье — наверное, эта семья, эти люди были теми ангелами, которых каждый человек носит в своем сердце, в своей душе.

— А почему не родители?

— Они были молодые! Дом наш в Кривоколенном был суматошный, бесконечные гости, всегда кто-нибудь ночевал из приезжавших, и папа и мама работали. Они не были конторскими служащими, поэтому работа была не регламентирована, т. е. гораздо больше обычного рабочего дня, общения с ними было в детстве мало, близость пришла позднее. А дом на Моховой — образ жизни был более размеренным, мы, дети, заранее знали, что в воскресенье мы отправимся в длинную прогулку с дядей Левой, с утра и до позднего вечера. Это всегда сопровождалось бесконечно интересными его рассказами на литературные и исторические темы. Эти рассказы были в высоком понимании этого слова учительством, дяде Леве была абсолютно чужда дидактика, он был замечательный популяризатор, он рассказывал на нашем уровне понимания, чтобы было интересно нам. Вот визуально, я помню, я всегда шел рядом, он рассказывал так, что мне казалось, что все адресовано только мне, старшие ребята шли вроде бы отдельно, но на самом деле дядя Лева рассказывал для всех нас. Мне кажется, что вот этот принцип популярности изложения (не в вульгарном, конечно, смысле, а в смысле обязательности быть пóнятым) перешел в каждого из нас в наших профессиях. Мне кажется, что мне это помогло в моей преподавательской работе.

— А сколько лет вы преподавали во ВГИКе?

— 16 лет.

— А вы бы хотели к этому вернуться?

— Я очень хочу, это моя боль, что я этим не занимаюсь. И моей здесь вины нету.

Я вспомнил сейчас одну историю — популярное изложение сложной теории, урок, который мне преподал брат Витенька. Уже будучи взрослым, я задал ему вопрос: «Что такое четвертое измерение, его физическое ощущение?» Он мне ответил: «Представь себе идеальное двухмерное существо. Что это такое? Площадь, не имеющая толщины, имеющая два измерения — длину и ширину. Ты начинаешь пропускать через него существо трехмерное, предположим шарик. Пока шарик не коснулся этой плоскости, плоскость его не ощутила, не восприняла, но как только шарик коснулся ее поверхности и начинает сквозь нее проходить, она воспринимает его сперва как точку, потом круг, постепенно увеличивающийся, потом уменьшающийся, превратившийся, наконец, снова в точку, после чего плоскость перестает этот шарик воспринимать.

Так и мы, существа трехмерные, четырехмерное физически ощутить не можем».

В 1934 году, уже после смерти дяди Левы, ссылки Вити — сначала на три года в Сталинабад, в 1937-м его снова посадили, он был на Колыме, потом в Норильске, в последние три года уже работал на комбинате по своей специальности, возглавлял лабораторию спектрального анализа (он был учеником Сергея Ивановича Вавилова), вернулся в 1957 году...

— Это о нем стихи Галича «Облака»?

— И о нем... В июне 1934 года мы переехали на Малую Бронную. И все мои географические интересы переместились в сторону Никитских ворот и арбатских переулков, Садовой-Кудринской и Садовой-Триумфальной, Пушкинской площади и Тверского бульвара. Страстной монастырь еще стоял, а площадь уже была Пушкинская. Пушкин и Тимирязев стояли спиной друг к другу с двух концов (или начал) бульвара. Может быть, потому, что это было близко, а может быть, и почему-то другому я стал почти каждый день бегать в театр на Садовой-Триумфальной, который назывался Мюзик-холл. Ходить я туда мог бесплатно, так как главным администратором театра был С. Б. Евелинов, муж маминой младшей сестры. Мне очень нравились эти спектакли, я до сих пор их помню, такие, как «Артисты варьете» с Токарской и Мартинсоном, «Под куполом цирка» с Мироновой, Токарской, Курихиным, Лепко, Тениным, Мартинсоном. От этого спектакля я замирал, и потом, когда появилась картина Александрова «Цирк» на тот же сюжет, мои привязанности все равно остались со спектаклем.

— Не в силу ли детских воспоминаний вы стали снимать с Е. Гинзбургом мюзикл по «Пышке» Мопассана?

— Нет, не поэтому. К тому времени, как мы стали снимать с Женькой, детские воспоминания ушли куда-то в подполье, провести связь уже невозможно.

— Но я как раз стремлюсь добраться хоть чуть-чуть до вашего «подполья»...

— Мюзик-холл. Я тогда, конечно, ни понять, ни осмыслить многого не мог, но все это впитывалось глазами, эти спектакли, их праздничность, разность — они не были похожи на спектакли других театров. Всегда буду помнить гастроли Мей Лан Фаня. Посадить нас, контрамарочников-детей, в зал было невозможно, поэтому мы сидели в оркестровой яме. Самым сильным впечатлением было то, что женщин изображали мужчины, это было непонятно, любопытно. Мы к этому не привыкли. Но что действительно отпечаталось, как фотография на всю жизнь,— это внешний облик представления, пластика актеров, грим, костюмы, палки, которыми орудовали актеры, все что видел глаз. Мы не вылезали из ямы, смотрели всё по нескольку раз, и на одном из представлений я услышал, как в зрительном зале до начала спектакля раздался шорох, как будто все стали бурно перешептываться, я повернулся назад, в зал, и увидел, как по проходу в обнимку шли Станиславский и Мейерхольд. Взрослым людям, москвичам, театралам было понятно это объятие — мне оно было интересно только одним: я увидел сияющих, улыбающихся людей, Мейерхольда я даже мало запомнил, так сиял Станиславский. Это совершенно не совпадало с тем образом сурового, сосредоточенного глубокого старика, которого я видел за несколько дней до этого в Леонтьевском переулке. А было это так. Мы с мамой пошли на зачетный показ в студию Станиславского, где в это время учился старший брат. Я ничего не помню из того показа, все мое

внимание было приковано к Станиславскому, он был, как мне казалось, суров, неподступен, и, конечно, к брату. С двух сторон импровизированной сцены, ну, ты знаешь, в комнате где колонны, вот эти колонны создавали впечатление, что там где-то есть кулисы, карманы — Саша Гинзбург и Лева Гофман (потом актер Лев Елагин) изображали механических солдатиков, кажется... Словом, заводных кукол. И когда у них вроде «кончился завод», они грохнулись на пол, чем вызвали у меня неудержимый смех. И я вдруг понял, что совершил какую-то бестактность, потому что все присутствующие следили за Станиславским, а он был сосредоточен и грозен — так мне казалось. Это новое впечатление в зрительном зале Мюзик-холла — Станиславский с сияющими глазами,— таким он остался в моей памяти.

В какой-то момент мои устремления переместились в противоположную от Садовой-Триумфальной сторону. Я зачастил в Большой зал консерватории. Но я в основном ходил на дневные концерты.

— А чем они отличались от вечерних?

— Ничем. Вечера у меня были заняты постоянными походами в клуб МГУ, где Сергей Васильевич Комаров читал лекции об американском кино и показывал отрывки из фильмов с участием Вильяма Харта, Гарольда Ллойда, Дугласа Фербенкса, Бестера Китона и Чарли Чаплина. Два последних произвели на меня грандиозное впечатление, и, когда в зале многие смеялись, мне вдруг становилось страшно грустно. И я вдруг понял, что я не только смотрю, я начинаю что-то чувствовать. Так у меня появился новый ангел.

Если бы все ограничивалось беготней по воскресным дням в БЗК и на лекции Комарова! Здесь же, на улице Герцена, бывшей Большой Никитской, появился третий адрес — против БЗК в помещении школы нарождалась студия Арбузова — Плучека. Это был уже 1940 год, год, когда возрастная разница между мной и братом перестала казаться такой непреодолимой. Кроме студийцев, среди которых был брат, там постоянно что-то делала компания ребят-ровесников и помоложе, старшеклассников, «болельщиков» — слово, которое тогда входило в лексикон. Мы сами называли себя опричниками. Мы подметали полы, мыли окна, убирали всякий немудрящий реквизит, вместе со студийцами ждали того дня, когда произойдет событие, которое, как нам казалось, должно потрясти Москву.

— Вы там тогда познакомились с Еленой Георгиевной Боннэр?

— Да. Елена Георгиевна — Люся — шила занавес для этого спектакля... И вот событие произошло 11 февраля 1941 года в Средне-Каретном переулке, в клубе — премьера спектакля «Город на заре». Сказать, что это было событие для Москвы,— значит ничего не сказать. Это было черт-те что.

— Похоже на что-нибудь из сегодняшних свалок в театре на Таганке или у Васильева?

— Нет. Я никогда не видел, чтобы горы шуб и пальто были навалены в фойе. В зале на каждом месте сидели по два человека, а то и по три.

— А нормального гардероба не было?

— Был. Все было, гардеробщики, билетеры, но народу было больше, чем мог вместить зал. Билетеры охрипли. Когда появился председатель Комитета по делам искусств, билетеры кричали: «А хоть бы кто, больше никого не пустим!» В антракте в фойе все бурлило, в какой-то момент на подоконник вскочил Семен Кирсанов, что-то кричал. Я это хорошо помню потому, что в мои «опричные» обязанности входило каждые пять минут бегать за кулисы и рассказывать, что происходит в фойе. Да и начало спектакля было трагикомичным: когда зал затих, на авансцену вышел В. Н. Плучек. Все ждали красивых, патетических слов, а он вместо этого долго пытался справиться с волнением и выкрикнул: «Товарищи! На лестнице образовалась пробка!» Зал грохнул. А потом началась война. Это отдельный разговор.

— Я все забываю вас спросить: что за кольцо вы носите?

— Это кольцо Галич когда-то подарил нашей маме, она его носила до самой смерти. Наверное, это опять те корни, те связи... хочется, чтобы это всегда с тобой было. Я никогда не задумывался о его цене, какой там камень. Память.

— Когда вы сказали «сутки на переселение» из дома на Моховой, я подумала о том, что у Галича в стихах «Заклинание добра и зла», последних, написанных в России, есть строчка: «И сутки на сборы — достаточный срок». Это к его мысли о том, что «жизнь, и поэзия, любит инверсии»? Действительно — сутки?

— Сорок восемь часов. Для меня много значат кадры в нашем фильме «Изгнание», кадры проезда по Ленинградскому шоссе к старому Шереметьеву, мы за те двое суток несколько раз ездили с ним на таможню, да и последний раз... Я сейчас видел в Париже в домах — многие увезли с собой свои библиотеки. Саша увез только Пушкина, академического... В Париже они с женой Нюшей жили на маленькой уютной улочке Мениль. Но и новый Париж — это произведение искусства. Он может нравиться или нет, но за каждым сооружением стоит, чувствуется авторство. А наши новые районы! Мы жестоки сами к себе, что мы творим! Мы сами все погубили. Мы уничтожаем среду обитания! Вот почему я так часто думаю о Кривоколенном, о китай-городских книжных развалах, Моховой моего детства...

— Но сегодня Москва разрослась, эти новые, безликие районы уже не перестроишь...

— Но ведь еще сохранился исторически сложившийся центр Москвы, он еще не уничтожен, он гниет. Нельзя без боли проходить мимо дома Дениса Давыдова, мимо прекрасных домов, в которых расположились райкомы, какие-то безликие конторы, учреждения, названия которых невозможно выговорить.

— Вы тоскуете о прошлом. Вам хотелось бы его возродить?

— Вернуться второй раз в одну реку невозможно. И ностальгия воспоминаний не связана с коммуналками, но если бы реставрировать веневитиновский дом в Кривоколенном, чтобы он был таким, как в пушкинское время... Ведь дом погибает — там до сих пор коммуналки, материальный склад ведомства, расположенного за много километров оттуда! Мы сейчас много говорим о восстановлении экологии культуры, а ведь это прежде всего среда обитания. Здесь все связано — формы общения, поведения и пространство. Без этого духовный мир человека разрушается.

— Вы всю жизнь живете в Москве, к тому же объездили всю страну. Вы до сих пор не привыкли к разрушению?

— Нет. Никогда не привыкну. Многое из того, что мы растеряли и разрушили, можно вернуть, но для этого надо осознать потерю, а с этим, по-моему, еще плохо. Мы только-только подступаем к осознанию нашей культурно-экологической катастрофы.

— Знаете, мы с вами разговариваем довольно долго, а я могу сказать словами журналиста, который брал одно из интервью у Владимира Набокова: «Мне опять почти ничего не известно о вашей личной жизни».

— Все, о чем мы говорили,— это и есть моя личная жизнь.

Вячеслав Басков

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Иностранные рабочие стали частью и нашей жизни. Однако, погруженная в сложные отечественные проблемы, основная масса публики едва ли догадывается об этой важной перемене. Про иностранных рабочих не распространяются средства массовой информации. Это настораживает тем более, что в последнее время газеты и журналы пишут обо всем. Телевидение показывает всё, даже ход Съезда народных депутатов.

Наверное,— в старом измерении — это запретная тема. Все-таки она касается деликатных международных отношений. А как, скажите, говоря об иностранных рабочих, можно уйти от ответа на вопрос: «Почему там где не работают наши сограждане, соглашаются работать иностранцы?»

Надеюсь, неосведомленным людям будет интересно узнать, что в Советском Союзе с недавних пор стали использовать две формы международного сотрудничества или взаимопомощи — называйте, как хотите. Первая — это когда иностранные рабочие делают какой-то конкретный объект (старый цирк в Москве на Цветном бульваре, реставрируют гостиницу «Метрополь», участвуют в лесозаготовках в Сибири и проч.), а потом возвращаются к себе домой. И вторая — когда иностранцы на несколько лет приезжают на наши фабрики, заводы, стройки и работают наравне с нами.

Сейчас в СССР проживает почти 165 тысяч иностранных рабочих из социалистических стран. Однако по второй форме, «постоянной», используются исключительно граждане Вьетнама — около 70 тысяч. Их можно встретить на улицах многих городов РСФСР, Украины, Латвии, Эстонии...

Считается, что иностранные гости выручают главным образом предприятия нашей легкой и текстильной промышленности, где катастрофически не хватает рабочих, поскольку там все еще чрезвычайно примитивное оборудование. Словом, из 70 тысяч граждан Вьетнама 45 тысяч приезжают именно на эти предприятия. Чуть меньше — на обувные.

На втором месте стоит созданный совсем недавно квартет строительных министерств — Севстрой, Запстрой и т. п. В этой связи естествен вопрос: зачем было дробить министерства, создавать отдельные, если в отрасли работать некому? Не разумнее ли было бы поступить наоборот — сначала обзавестись рабочими, а потом уже создать управленческий аппарат?

Но среди потребителей иностранной рабочей силы помимо этих основных числится одно мощное министерство, которое, правда, и раньше покритиковывали, но, кажется, никогда за его техническую отсталость. Речь идет о Минавтосельхозмаше, бывшем Министерстве автомобильной промышленности СССР. Его предприятия подозрительно сильно любили лимитчиков. Благодаря им заводы заботились не о будущей, не о завтрашней автоматизации, но исключительно о том, как бы сегодня выполнить план. Сами того не замечая, они постепенно переходили из разряда современных предприятий в заводы-музеи. Такие автогиганты (красиво звучит, не правда ли?), как ЗИЛ и АЗЛК, первыми впали в панику, когда с января 1987 года лимитной политике в Москве был положен долго ожидаемый предел. Паника была оправдана: двадцать три года спустя после первого завоза лимитчиков ЗИЛ и АЗЛК оказались, в сущности, на том же техническом уровне, что и прежде. Конечно, и туда время от времени поставляли что-нибудь эдакое, заграничное,— не покупалось, однако (да оно, видно, и не продается), главное: современная организация труда. Конвейер, изобретенный Фордом, действует на ЗИЛе в своей первозданной, музейной чистоте. Разве что приобретены (опять же за границей) пневматические отвертки — взамен опасных электрических, причем, как всегда, мало, так что на всех рабочих не хватает.

Срок межправительственного соглашения «О направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и организациях СССР» (подписано в 1981-м) истекает в будущем году. Оно должно быть или продлено, или прекращено. В Государственном комитете СССР по труду и социальным вопросам убеждены, что продление договора связано непосредственно с товарным обеспечением. Если нашим вьетнамским друзьям найдется, что купить в магазинах, имеет смысл продлевать, не найдется — нет смысла. Вот такая на первый взгляд странная зависимость. Однако контракт на работу в СССР (мужчины на шесть лет с правом раз в три года съездить в отпуск на родину, женщины на четыре года без поездки домой) для подавляющего большинства приезжих — подарок судьбы. Для них, что нам как раз понять легко, это первый вояж за границу. Им у нас очень нравится. И они ведут себя точно так же, как ведем себя за рубежом мы: охотно покупают самые разные товары — сигареты, утюги, кипятильники, велосипеды, мотоциклы, холодильники — им интересно всё! Точь-в-точь как всё за границей интересно нам: сигареты, утюги, кипятильники, велосипеды, холодильники...

Наше деловое сотрудничество с Вьетнамом, однако, совпало с переходом страны на хозрасчет. По одним талонам на сахар можно понять, как трудно приживается новая экономическая система. Многие предприятия самовольно занизили себе задания. Оказалось, что для самоокупаемости и самофинансирования им необязательно работать лучше. Достаточно выпускать продукцию подороже. Любого качества. Все реже встречаются утюги, шампунь, хозяйственное мыло — предприятия сделали всё, чтобы мы в полной мере оценили «простые радости жизни». Обеспечить этими и многими другими нехитрыми товарами самих себя, а заодно и иностранцев, такой хозрасчет пока не способен.

К счастью, вьетнамские друзья страдают от дефицита все-таки меньше: то, что не берем даже сейчас в магазинах мы, с неизменной и почти детской радостью скупают они. Например, 20-литровые алюминиевые миски и алюминиевые кастрюли поистине огромной емкости, используемые обычно в столовых. В одном из общежитий квартирного типа завода имени Лихачева я своими глазами увидел вложенные один в другой алюминиевые тазы, которые руками не обхватишь,— от пола до потолка; и еще взгроможденные друг на друга новенькие алюминиевые котлы, упирающиеся в потолок... По одним сведениям, в тазах и котлах, отправляемых за границу, во Вьетнаме варят еду для прохожих, по другим — их расплавляют и делают из посуды «серебряные» украшения.

Кроме того, в каком бы краю наших вьетнамских друзей ни поселили, они вдобавок связаны между собой тугими почтовыми узами — постоянно шлют друг другу разные вещи. Из хорошо информированных источников известно, что этот почтовый оборот из города в город — не гостинцы, не добрые напоминания о себе, а торговля: перепродают друг другу то, что и сами-то достали обычно с переплатой. Иногда, живя в одной комнате, торгуют между собой тазами и кастрюлями. В итоге в пятые руки таз идет чуть не за полсотни, а утюг так и за сотню. Это понятно! Отсутствие товара на прилавке объективно цену повышает...

Наш вьетнамский друг работает хорошо, старательно. Правда, беготня по магазинам и на почту отнимает у него много времени, так что он иной раз на работу не выходит. Во всяком случае, это было первое, что мы услышали в бухгалтерии 21-го цеха завода имени Лихачева, куда заглянули, чтобы узнать, хорошо ли им платят, не обижают ли. (Такое, к сожалению, уже бывало. Например, на швейной фабрике «Горнячка» в Прокопьевске Кемеровской области девушки отказались выходить на работу из-за того, что им мало платили, и на швейной фабрике в Можайске, когда руководство не разрешило погостить в общежитии их товарищу из другого города.) Выяснилось, что на ЗИЛе вьетнамские рабочие не пьют, а болеют очень редко. Только частенько прогуливают, главным образом потому, что, не доверяя почте, срываются на несколько дней в другой город лично. То, что наша почта — не самая лучшая в мире, понятно всем, но по КЗОТ это не может служить оправданием для невыхода на работу.

Как и мы с вами, на руки они получают не столько, сколько им выписали: у них вычитают подоходный налог, 5 рублей за общежитие, и каждый из них, согласно личному заявлению, отчисляет 10% своей зарплаты в пользу Вьетнама — «на участие в строительстве социализма и защите своей родины». Кроме того, они платят взносы в профсоюз, комсомол, партию — через посольство. Нашей заумной бухгалтерии они дружно не понимают, и на вопрос о зарплате простодушно называют лишь «чистую» сумму, которую получают на руки. Так, 33-летний Хиен из Ханоя утверждает, что в месяц, как правило, ему выдают 160 рублей, 30-летнему Тхангу — 140, а их ровеснику и земляку Нго Дык Чау — когда 130, когда 150, а один раз даже 170 рублей. А вот Лэ Дат Наму, который своей рукой вывел в моем блокноте цифру «135», выписали 258 рублей 05 копеек. После всех вычетов он должен был получить 195 рублей 89 копеек: в аванс ему выписали 50 рублей, в зарплату — оставшиеся. Так что, надо понимать, после уплаты взносов у Лэ Дат Нама и осталось 135 рублей. Ошибки нет. Едва ли они все ошибались и тогда, когда говорили, что на такие деньги нелегко жить (а нам легко?): купишь что-нибудь — на еду не остается, купишь еду — что еще купишь? Разве что самую большую в мире алюминиевую миску.

И все-таки за несколько лет экономного ведения хозяйства у некоторых из друзей образуется капитальчик, которого хватает и на утюг, и на мотоцикл... И вот сейчас перед обеими странами встает проблема: продлевать ли соглашение и на каких условиях?

Госкомтруд СССР обратился в Минторг СССР с инициативой: выделять вьетнамским рабочим нужные товары оптом и отправлять их организованно по указанным адресам. Возможно, в скором времени так и будет делаться. Если, конечно, соглашение продлят. А пока что объективные трудности с покупкой различных вещей породили трудности несколько иного рода.

Неловко об этом говорить, но, в сущности, все об этом знают — и сами вьетнамские рабочие, и сотрудники посольства, которых в обязательном порядке ставят в известность о малейших происшествиях, и наши представители из Госкомтруда, и... ОВИР МВД СССР.

По логике вещей, в ОВИРе лишь регистрируют иностранцев и регулируют их передвижение по стране. Однако с 70 тысячами иностранных рабочих из Вьетнама, естественно, происходят и разные приключения. Только в 1988 году ОВИР зарегистрировал 2500 случаев неправильного поведения в чужой стране. Хроника ОВИР содержит, например, административные нарушения: потери паспорта или просрочки, с 1985 по 1988 год выявилось 35 человек, которые проживали вовсе без документов, а по недействительным документам — 110 человек, 5500 человек нарушили правила переезда из города в город, 40 человек задержаны за мелкую спекуляцию, больше 300 человек уклонялись от выезда из СССР, для чего, затерявшись в общежитиях среди товарищей, перешли на нелегательное положение, 94 человека совершили мелкое хулиганство, 67 человек занимались самогоноварением. Так, в одном из общежитий Астрахани милиция однажды конфисковала 1500 литров браги, а в общежитии «Дружба» на ВАЗе подобных случаев было три. За эти же годы 25 раз рабочие отказались подчиняться милиционерам, четырежды были застигнуты за незаконными валютными операциями и т. д.

Пожалуй, нелишне прерваться, чтобы повторить, что ничего особенного в этих фактах и цифрах нет. Речь идет об огромной массе людей, вдобавок молодых, и они могут ошибаться, неправильно вести себя, даже совершать преступления — как любые другие массы людей.

После этого продолжу: были и уголовные преступления — 5 краж, 16 изнасилований, 2 убийства. В одном из ярославских общежитий рабочий Ле Ван Хоа устроил на женской половине пьяный дебош; в общежитии подшипникового завода в Вологде 24-летний Ле Ань Тоань и 25-летний Ле Куонг Чунг, выпив, хулиганили; рабочий камвольно-суконного комбината в Краснодаре Фам Зуй Тай в апреле прошлого года нанес удар ножом своему товарищу Зыонг Туан Аню, а другой рабочий того же предприятия Чанг Дык Хунг ударил топором Нгуен Ван Куя... (Не хочется преувеличивать или обобщать, но, кажется, легче всего стать преступником в общежитии!)

— Мы не понимаем, что происходит,— тем не менее с удивлением и печалью говорили самые разные люди в Госкомтруде и МВД.— На первых порах, когда к нам приехали 5 тысяч человек, на них нельзя было нарадоваться. Мы со своей стороны делали для них все, что могли: одели, обули, тепло и уютно поселили, создали самые благоприятные условия для работы. И они так хорошо, просто безупречно учились, работали, жили, но теперь...

Признаться, из всех нарушителей я больше всего сочувствую Чан Мин Ламу из Ленинск-Кузнецкого, который хотел дать взятку за больничный лист. В его оправдание повторю: поездка в СССР, даже на работу,— подарок судьбы. Все, с кем я ни говорил, и те, кто сетовал на невысокую зарплату, признавались в любви к нашей жизни, к новым сослуживцам, которые обучают их профессиям и языку. Однако за нарушение трудовой дисциплины или советских законов должно следовать наказание: возвращение на родину. Стыдно вернуться домой до окончания срока. Да наверняка и неприятности будут. По-видимому, Чан Мин Лама мог выручить только больничный лист — он бы служил объяснением прогула. А вот Чан Тхи Хоанг Лоан уже ничто не могло спасти: ей так не хотелось покидать Россию, что она бро-

сила своего ребенка в общежитии в Краснодаре и убежала в другой город. Но поиск длился недолго. Строгим соглашением предусмотрены лишь одинокие, а не семейные рабочие. Если беременность обнаружена до шести месяцев, женщина непременно должна уехать. Пропущен этот срок — она, как любая советская женщина, уходит в декрет, рожает, а когда малыш окрепнет, их обоих все-таки возвращают домой. В соглашении нет пункта о семейных общежитиях.

Мне не совсем понятны жалобы некоторых работников Госкомтруда на неконтролируемость обстановки из-за, как они говорят, «странного контингента» вьетнамских товарищей. Не считаю его странным, потому что еще неизвестно, как бы вели себя на их месте мы. Мне крайне не симпатична сама идея: иностранные рабочие в Советском Союзе. Какой в том прогресс?

Да, техническую отсталость невозможно преодолеть с помощью временных рабочих — называются ли они лимитчиками или иностранными рабочими. Благодаря им техническая отсталость консервируется, потому что предприятия все-таки функционируют. Удивительно, но даже сейчас, после шумных, но так и неуслышанных газетных дискуссий, осуждавших лимит, заместитель генерального директора ЗИЛа по экономике Александр Иванович Бужинский со страстью внушал, что лимит возобновлен все равно будет, что без него — никуда!

Да что заместитель! Генеральный директор Евгений Алексеевич Браков в своей предвыборной программе, когда он баллотировался в народные депутаты СССР, тоже публично заявлял, что если Москве трудно обеспечивать «привозных рабочих» жильем, то завод это может взять на себя. Он сам будет строить общежития. Строительных рабочих, значит, у него много. Откуда? Он же не дома, а машины выпускает! Но Москве не нужны общежития! ЗИЛ стоит не в пустыне, а в центре огромного города, который, как любой другой цивилизованный город, рассчитан лишь на определенное число жителей. А ЗИЛ и без того уже украсил Москву десятками многоэтажных общежитий «квартирного типа». Но все кажется мало! В заводоуправлении окрылены несбыточной и пустой идеей строительства все новых и новых «общаг». Словно бы именно они, комнаты на несколько человек, а не современная организация производства способны повысить производительность труда.

Немного в мире таких автогигантов, где делают грузовики, но в ФРГ грузовиков выпускают в 4 раза больше, чем у нас, а в Японии — в 6 раз. Почему? Оказывается, очень просто. В нашей автомобильной промышленности план определяется в автотоннах. То есть чем грузовик крупнее, тем завод ближе к выполнению плана. А страна нуждается не столько в 10-тонках, сколько в малотоннажных, а потому более подвижных и мобильных машинах, полуторках. Но ведь одна 10-тонка равна шести полуторкам,— понимаете хитрость? Большегрузные автомашины выпускать выгоднее. Точно так же, как вместо 20 алюминиевых двухлитровых кастрюль — один котел для общепита или десять эмалированных с цветками на боках. 240 многотонных фирменных ЗИЛов сходит с одного конвейера завода за смену, 129 — с другого...

Чтобы их собирать, нужны руки. С прекращением в Москве лимита выполнять эту тяжелую (и, как выясняется, ненужную) работу стало некому. Справедливости ради надо сказать, что Госкомтруд СССР не сразу удовлетворил просьбу ЗИЛа о предоставлении ему 1400 наших зарубежных друзей: они появились в Москве лишь в прошлом году, на самом исходе межправительственного соглашения. Выгода от их постоянного труда для завода да и для любого другого

предприятия несомненна: уже через два года полностью окупаются затраты. Из шести лет пребывания пять лет они дают стране товарную продукцию, а три года — и товарную и денежную прибыль (примерно год уходит на изучение русского языка и профессии).

Однако А. И. Бужинский с ЗИЛа, не боясь показаться ханжой, почему-то упорно не желал признать, что от вьетнамских граждан завод получает весьма реальную пользу. Он настаивал, что на первом месте стоит интернациональная дружба и воспитание ее в рабочих. Настаивал на том, что вовсе не требует доказательств и лишних заверений.

Кроме красивых слов об интернациональной дружбе существует проза жизни. Ни ЗИЛ, ни любое другое предприятие, прибегающее к помощи заморской рабочей силы, все-таки не доказали, что это объективная необходимость.

Техническое обновление на ЗИЛе явно отстает от требований времени. Все еще преобладает монотонный ручной труд. Громадное предприятие, завод-город, где курсируют свои автобусы, поражает допотопностью конвейеров и грандиозностью задачи, которую там решает... отдел кадров. По признанию его начальника Николая Ивановича Голубева, заводу не хватает «всего» 14 с лишним тысяч рабочих. При том, что сейчас там в общежитиях проживает 15 тысяч! Ежегодная текучесть кадров — около 9 тысяч человек! Какие цифры! Какой неохватный масштаб! Как за ним высмотреть одного человека, создать именно ему благоприятные условия для наиболее производительного труда? Как сделать для него одного завод любимым местом работы, которым дорожат?

И что же выдает завод-город? Ревущие, оглушающие жителей городов и сел, загрязняющие атмосферу многотонные машины, которых, с одной стороны, как считают в Минавтосельхозмаше СССР, не хватает, поскольку у нас очень плохие дороги и эти грузовики быстро сходят с колеи, а с другой — переизбыток, поскольку было бы гораздо лучше, если бы вместо одного неповоротливого автомобиля с конвейера сходило шесть маленьких и подвижных.

Ежедневная суета по восполнению тысяч недостающих рабочих рук создает богатую видимость полнокровной деятельности, эдакой «заводской жизни». То завозят в цеха хронических алкоголиков и наркоманов под предлогом трудотерапии и прямо на заводе устраивают наркологические кабинеты, то привлекают учащихся различных ПТУ, которые расположены вдали от Москвы, даже в республиках Средней Азии, под предлогом прохождения учащимися обязательной двухмесячной практики. Этим тысячам людей (среди них есть подростки) надо дать кров, лекарства.

Но можно, как видим, добавить к практикантам, лимитчикам и пациентам больниц и ЛТП еще и иностранных рабочих. Можно организовать для них повсеместно курсы русского языка с сотней учителей, платить им десятки тысяч рублей из заводского бюджета. Ну, можно, наконец, в отделе кадров создать специальный отдел по работе с иностранными гражданами и раз в неделю собирать оперативки. Но вся эта суета сует, однако, не способна заменить технического прогресса.

Это относится не только к ЗИЛу, но и к швейным фабрикам, на которых вьетнамские друзья сидят за швейными машинками, и к текстильным предприятиям, и к стройкам министерских квартета. За десять лет действия соглашения число рабочих из Вьетнама увеличилось в СССР в 13 раз! А некоторым хозяйственникам и этого кажется мало. У них на предприятиях вечная нехватка наших рабочих, которые

почему-то не хотят идти к ним. Требуют пригласить иностранцев еще, еще... Сейчас чуть не весь министерский «оркестр» обращается в Госкомтруд с просьбой разрешить их прибытие как можно скорее. И не понимает, что до иностранных рабочих мы еще не доросли, потому что это чрезвычайно дорогое удовольствие. Здесь не обойдешься вежливыми улыбками, 30 ежемесячными рублями за одного рабочего стране-поставщице и благоустроенным общежитием «квартирного типа».

И вот спрашивается, почему то, что не нравится на швейных и текстильных фабриках, на стройках, на том же заводе имени Лихачева нашим рабочим (плохая организация труда, низкая зарплата, отсутствие механизации — словом, неуважение к человеку), почему все это должно нравиться иностранцам? Да потому, оказывается, что, раз приехав, они обязаны работать — не́куда им деться. Они не имеют права без разрешения администрации даже выезжать за пределы района обитания. Не смеют они перейти и на соседнее предприятие, где, может быть, лучше и больше платят. Поменять профессию не вправе. Именно все это и создает иллюзию привязанности к рабочему месту — грязному или по-человечески скучному. А раз есть «единица», то зачем создавать ей условия? Работает же...

Привычная, апробированная десятилетиями ставка на обязательный труд! Без обязательного создания приличных условий для работы. Вот что привлекает руководителей иных предприятий сильнее, чем хлопотная модернизация процессов производства, требующая игры ума, инженерного подхода, а не дискуссий на бесконечных совещаниях и оперативках.

Но те руководители опять ошибаются: к 15 января 1990 года Советский Союз должен привести свое положение о пребывании иностранцев в стране в соответствие с подписанными в Женеве соглашениями, а к 1990 году ОВИР намерен снять различные ограничения — пережиток прошлого — на передвижения иностранцев в России. И тогда сходства вьетнамских граждан с нашими родными лимитчиками уже не скроешь...

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

«Мы подошли к краю экономической пропасти, и назад дороги у нас нет. За свою недолгую историю мы перепробовали всё, все мыслимые и немыслимые способы организации экономической жизни, и большинство из них оказалось экономически неэффективно. По мировым критериям наша экономика была эффективной только в недолгий период нэпа. Именно тогда мы имели сбалансированную, конкурентоспособную, во многом открытую экономику, развивающуюся темпами, которых мы больше никогда с тех пор не знали. И эта экономика была социалистической. Думаю, что сегодня у нас нет иного пути, иной надежды, кроме возврата к ленинским принципам организации народного хозяйства, разумеется, применительно к новым, значительно усложнившимся условиям» — так пишет известный экономист и публицист НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ в книге «АВАНСЫ И ДОЛГИ», которая выходит в издательстве «Московский рабочий».

Галина Вишневская

ГАЛИНА

История жизни

Вряд ли кому-либо нужно представлять Галину Павловну Вишневскую, великую русскую певицу, с именем которой связаны многие блестящие премьеры Большого театра 50—60-х годов: первое исполнение ряда произведений Шостаковича и Прокофьева, Бриттена и Бориса Чайковского; триумфы советского вокального искусства за рубежом — в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Это о ней, о Галине Вишневской, писала Анна Ахматова: «Женский голос, как ветер, несется, // Черным кажется, влажным, ночным, // И чего на лету ни коснется — // Все становится сразу иным...»

Все это у многих на памяти, хотя полтора десятилетия голос Вишневской не звучал в нашей стране, а имя ее ни разу (за исключением короткого информационного сообщения о лишении ее и ее мужа виолончелиста и дирижера Мстислава Леопольдовича Ростроповича советского гражданства «за действия, наносящие ущерб Советскому государству») не упоминалось на страницах печати, более того, выскабливалось со старых афиш (см., например, роскошный альбом, изданный к 200-летию Большого театра). И стихотворение Ахматовой тоже перепечатывалось без указания на то, к кому оно обращено и чей это «зачарованный голос» влечет «могучая сила»...

Почему и как это произошло, что народ лишился своей первой певицы, а певица — родины?

Поводом, как известно, послужило то, что Ростропович и Вишневская дали убежище на своей даче А. И. Солженицыну, а также открытое письмо М. Ростроповича в его защиту. Письмо это, сразу получившее, к ужасу властей, «ненужную огласку» в стране и за границей, наряду с письмами других деятелей культуры, внесло ощутимый диссонанс в крепко сколоченный и строго контролируемый хор «народного гнева», который после присуждения Солженицыну Нобелевской премии загремел со страниц всех тогдашних газет.

«Неужели,— писал Мстислав Ростропович,— прожитое время не научило нас осторожно относиться к сокрушению талантливых людей? Не говорить от имени всего народа? Не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали и не слышали?

...Я не касаюсь ни политических, ни экономических вопросов нашей страны. Есть люди, которые в этом разбираются лучше меня. Но объясните мне, пожалуйста, почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит лицам, абсолютно некомпетентным в этом? Почему дается им право дискредитировать наше искусство в глазах нашего народа?

Каждый человек должен иметь право безбоязненно, самостоятельно мыслить и высказываться о том, что ему известно, лично продумано, пережито, а не только слабо варьировать заложенное в него «мнение».

К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно придем.

Я знаю, что после этого моего письма непременно появится «мнение» и обо мне, но я не боюсь его и откровенно высказываю то, что думаю. Таланты, которые составляют нашу гордость, не должны подвергаться предварительному избиению».

«Мнение», конечно, появилось, и очень быстро. Слишком уж неординарными были эти художники, М. Ростропович и Г. Вишневская, слишком велика по тогдашним меркам была их независимость — творческая и гражданская, они не помещались, да и не желали помещаться, в те рамки и ту систему координат и ценностей, что являлись обязательными в искусстве, и обществе в целом, в годы, получившие потом название застойных.

Книга Галины Вишневской, с фрагментами которой мы, с согласия автора, знакомим читателей «Горизонта», вышла в 1985 году в Париже.

РЕДАКЦИЯ

После Славиного письма власти, конечно, сразу стали нас прижимать, особенно его, и продолжали это благородное занятие три с половиной года. Сначала его отстранили от Большого театра, потом постепенно сняли все заграничные поездки. Наконец подошло время, когда столичным оркестрам запретили приглашать Ростроповича... А вскоре ему не давали зала в Москве и Ленинграде уже и для сольных концертов.

И вдруг позвонили из университета, что на Ленинских горах, с просьбой сыграть для них концерт! Слава с радостью согласился. В день концерта утром звонок:

— Ах, Мстислав Леопольдович, сегодня у нас вы должны играть, но тут случилось непредвиденное собрание, и зал вечером занят. Вы нас извините и, может, согласитесь сыграть в другой день? Мы вам позвоним.

А поздно вечером звонят студенты университета:

— Мстислав Леопольдович, как вы себя чувствуете?

— Прекрасно, спасибо.

— А у нас повесили объявление, что вы заболели и потому концерт отменяется.

— А мне сказали, что у вас зал сегодня вечером занят каким-то срочным собранием.

— Да ничего там нет.

— Ну, значит, мне и вам наврали.

Приехала в Москву группа сотрудников Би-би-си из Лондона, позвонили домой.

— Мы снимаем сейчас фильм о Шостаковиче и, конечно, надеемся, что вы примете участие.

А сколько уже было всяких отказов! Надоело быть игрушкой в руках мелких сошек из разных министерств, и на этот раз мы отказались сами:

— У нас нет времени, мы сниматься не будем.

На другой день звонят из АПН и слезно умоляют принять участие в фильме.

— Мстислав Леопольдович, мы делаем фильм о Шостаковиче совместно с Би-би-си, а вы и Галина Павловна столько музыки его играли, без вашего участия не может быть фильма.

— Да ведь опять запретят.

— Нет, у нас есть разрешение. Это наше официальное приглашение.

— Ну хорошо, пусть приедут представители фирмы к нам домой.

Они пришли к нам, милые, славные англичане, и мы договорились, что Слава сыграет в фильме часть из виолончельного концерта, а я спою арию из «Леди Макбет» и кое-что из Блоковского цикла. В день назначенной съемки мы дома репетируем, готовимся — в три часа должна приехать машина. В три часа нет, в четыре — нет и в шесть — тоже. И ничего — ни звонков, ни письма, просто не приехали. Сами мы, конечно, никуда звонить не стали — все уже осточертело. Ночью пришел Максим Шостакович и сказал, что в ЦК запретили снимать меня и Славу.

Случилось так, что буквально через несколько дней мы обедали у английского посла. Кроме нас были еще гости из других посольств, и Слава не сдержался — при всех за столом объявил:

— Господин посол, я всегда считал Англию страной джентльменов. Но несколько дней тому назад я был разочарован и поражен невежливостью англичан.

За столом наступила гробовая тишина, а посол весь вытянулся и даже побледнел.

— Простите, я вас не понял...

— Английская фирма попросила нас сниматься в фильме. Мы согласились. В назначенный час за нами должны были приехать. Мы ждали их несколько часов — я во фраке, Галина Павловна в концертном платье, а они не только не приехали, но даже и не позвонили нам, чтобы извиниться и объяснить, что же произошло.

Посол из белого стал багровым и, не говоря ни слова, выскочив из-за стола, побежал в другую комнату — звонить по телефону. Вскоре он вернулся и рассказал следующую историю. Оказывается, накануне съемки из того же АПН позвонили представителю Би-би-си и сказали ему, что Ростропович и Вишневская уехали из Москвы по каким-то срочным делам и отказались сниматься в фильме. Поэтому они нам и не позвонили и тут же уехали в Лондон.

Рассказывали, что фильм вышел на экраны и в английском варианте в него вмонтировали пленку с участием меня и Славы. Не знаю — что именно. Я фильма не видела.

Звонит из Лондона Иегуди Менухин:

— Галя, где Слава?

— Он уехал на концерты в Ереван.

— Как его здоровье?

— Хорошо.

— Он должен приехать к нам с концертами, но нам прислали телеграмму, что он болен. Что делать?

— А ты скажи всем, что говорил со мной и я тебе сказала, что Министерство культуры врет. Ростропович здоров и может выехать, но его не выпускают.

В общем, все мои предсказания сбывались. В Большом театре он больше не дирижировал, его просто перестали приглашать, в другие оркестры Москвы и Ленинграда его тоже уже не допускали. Тогда он стал ездить дирижировать в провинцию — туда путь еще не был для него закрыт.

Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось, в этом ограничений мне никаких не было.

Еще в 1971 году наградили меня орденом Ленина — и даже выпускали за границу: последняя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году — я пела «Тоску» и «Баттерфляй».

Просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше не звучал по радио, по телевидению; что бы я ни спела — все падало в бездонную пропасть. Если бы мы жили в век, когда не было не только радио, но и прессы, то так же можно было бы выходить на сцену и делать свое дело. Но рядом со мной, окруженной стеной молчания, шла другая, цивилизованная жизнь, где технические достижения человеческого разума давали людям информацию о культурной жизни страны, но без меня и Ростроповича.

Этим власти старались не только унизить нас, но создать атмосферу пустоты, незаинтересованности в нас, ненужности нашего творчества. Но я, в конце концов, имела свое привилегированное место на сцене, где могла предъявить мое искусство. У меня был прежний уровень — столичный театр, великолепный оркестр, я могла сохранять свою прежнюю творческую форму и, пользуясь неизменным успехом и любовью публики, окруженная поклонниками и почитателями, стараться не замечать гнусную возню вокруг меня. Но сколько же на это ушло душевных сил!

Совсем в другом положении оказался Слава. После блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общения с выдающимися музыкантами современности ему пришлось опуститься в болото провинциальной жизни России. Теперь он играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, не могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта. Значит, каждый раз нужно было идти на творческий компромисс, постепенно снижать свой исполнительский уровень, приспосабливаться к посредственности. В этих случаях на помощь по старой русской традиции приходит водка, и Ростропович не оказался исключением. Все чаще выпивал он после концерта родимую поллитровку и все чаще хватался за сердце — мучили приступы стенокардии. Нужно было срочно вмешаться, оградить его от пьяных компаний, снова хлебнуть провинциальной жизни.

Позвонили мне из Саратовского театра, умоляют спеть у них «Тоску».

— Помогите, Галина Павловна, театру. Публика совсем не ходит, только на гастролях и держимся.

Видя, как изнывает в вынужденном бездействии Слава, я решила поехать и попросила его продирижировать спектаклями. Он с восторгом согласился, чуть ли не за десять дней раньше выехал в Саратов, чтобы подготовить оркестр, да и самому интересно поработать — первый раз «Тоской» дирижирует. И вот я, впервые за много лет, выехала в Советском Союзе на гастроли.

Саратов — большой, когда-то богатый город на Волге. Есть концертный зал, опера, драматические театры, свой симфонический оркестр, консерватория и музыкальные школы, университет, разные институты и пр. и пр. Меня встречает с цветами администратор театра.

— Галина Павловна, какое счастье видеть вас в нашем городе! Мстислав Леопольдович уже на репетиции, к одиннадцати часам ждет вас в театре...

В отеле тоже все милы: пожалуйте в номер... Четвертый этаж...

— А где же лифт?

— Лифт, к сожалению, не работает.

— Да? Ну ладно... А можно кофе в комнату заказать?

— В комнату? Да у нас буфет уже несколько месяцев на ремонте. Какой тут кофе?

— Так где же тут утром завтракают?

— А вон, через дорогу, в столовую идите.

Да-а-а... сейчас это ничего, но вот после спектакля, утром, вылезать из постели, одеваться, причесываться и идти на улицу?.. Ну ладно, посмотрим. А все-таки мне здесь жить две недели.

В столовой уже с утра особый запах прокисшей еды. Столы накрыты клеенкой в липких пятнах. Несмотря на раннее утро, какие-то типы глушат пиво пополам с водкой — видно, опохмеляются. Да, это вам не Париж.

Молча жду, когда кто-нибудь подойдет к столу. Сопровождающий меня администратор театра замер, видя, как примадонна мрачнеет и с каждой минутой все больше погружается в тяжелые раздумья. Наконец подошла здоровенная тетка и, увидев, как я бумажкой вытираю грязь на столе, приняла позу «готов к труду и обороне». Вернее, не так к труду, как к обороне.

— Ну, что будем заказывать?

— Кофе со сливками, пожалуйста.

— Сливок отродясь не бывало, только молоко.

— Хорошо, тогда с молоком.

Под ее орлиным взглядом чувствую, что начинаю понемногу уменьшаться в размерах, и как можно вежливее прошу принести кофе отдельно и молоко отдельно. Удивлению ее нет границ.

— Как же это можно, в чем я вам его понесу?

Из уст моих уже льется просто нежность:

— В чем вам угодно, только не вместе, пожалуйста.

— Та-а-а-к, ладно... Что еще будем заказывать?

— Больше ничего.

— Из Москвы, что ль?

— Да, из Москвы.

Принесла какую-то рыжую бурду в липком стакане, в блюдце ложка сахарного песку, и еще одно блюдце с чем-то в нем размазанным.

— А где же молоко?

— Как где? Вон в блюдце, вы же просили отдельно.

— Так это что, сгущенное с сахаром, что ли? Я же просила молока, я сахара не ем...

Ух, как она на меня взвилась!

— Да вы что издеваетесь-то надо мной! Да у нас дети молока не видят, а вам вынь да положь! Ишь барыня какая... Сгущенка ей, видишь, не нравится, а наши бабы за нею целый день в очереди стоят. Сахара она, видишь, не ест. Ничего, съешь, не подавишься! Зажрались по своим столицам...

«Ах, Галина Павловна, «царица вы наша», поездили по заграницам, да окопались в своей Жуковке с двумя холодильниками, и забыть изволили, как сами ели хлеб с мякиной да пустым кипятком запивали. Сократитесь-ка немножко да оглядитесь кругом. Посмотрите, как народ живет...» Да не желаю вспоминать! Не желаю «сокращаться»! Почему впроголодь, по-скотски живут? Ведь не война, черт побери!..

Вечером в театре, после репетиции, заглянула в зрительный зал. Идет спектакль, в зале от силы человек пятьдесят. И голоса-то хорошие! А тенора Владимира Щербакова я потом в Большой театр привела на прослушивание — сейчас он там работает.

Не помню, какая шла опера, но участвовал кордебалет, и я пришла в ужас от внешнего вида балерин — такие они были толстые. И опять я, со своими столичными замашками, обращаюсь к директрисе театра:

— Но ведь это же безобразие, почему они так раскормились? Заставьте их принять надлежащую форму.

Она снисходительно посмотрела на меня:

— Галина Павловна, эти раскормленные девочки получают в театре 80 рублей в месяц. Их хватает лишь на хлеб, картошку да серые макароны, потому они и толстеют. А им еще нужно одеться — они ведь тоже артистки, хоть и кордебалета...

Я готова была провалиться сквозь землю от стыда за свою бестактность, за свое шикарное платье, за бриллианты на руках.

Этим же летом Саратовский театр выезжал на гастроли в Киев, и просили меня и Славу приехать хотя бы для двух спектаклей «Тоски». На этот раз я отказалась, и никакие уговоры Ростроповича уже не помогли. Мне нужно было отдыхать, готовиться к новому сезону, и я прочно засела на даче. Слава согласился приехать и разработал генеральный план: возьмет с собой Ольгу и Лену, поедут на машине до самого Киева, не торопясь, останавливаясь по дороге в разных интересных местах. Девчонки, конечно, ликовали: Киева они еще не видели, а самое главное — отец едет дирижировать и они будут сидеть на всех репетициях и спектаклях.

Выехали на рассвете, набрав с собой разных туалетов, продуктов побольше, вооружившись картами. Первая ночевка в Брянске. А через день к вечеру вернулись в Жуковку с унылыми физиономиями... Оказывается, в Брянске, куда они добрались уже к ночи, их ждала телеграмма из Киева о том, что в связи с переменой программы гастролей спектакли «Тоски» отменяются.

Потом нам рассказали, что киевские власти просто запретили появление в их городе Ростроповича, а публике объявили, что он уехал за границу и отказался дирижировать в Киеве. Спектакли же «Тоски» состоялись, только с другим дирижером.

Да, мы так живем, и какой-нибудь партийный кретин волен распоряжаться всей нашей творческой жизнью.

И это ли не трагедия для таких великих музыкантов, как покойный Ойстрах, как Рихтер, Гилельс?

В молодости еще можно найти в себе силы принимать с юмором тычки и затрещины, но с годами, когда внутреннее зрение становится безжалостным, жизнь бесстыдно обнажается перед тобой и в уродстве своем, и в красоте. Ты вдруг неумолимо понимаешь, что у тебя украдены лучшие годы, что не сделал и половины того, что хотел и на что

был способен; становится мучительно стыдно перед самим собой, что позволил преступно унизить в себе самое дорогое — свое искусство. И уже невозможно оставаться марионеткой, вечно пляшущей по воле тупоголового кукловода, переживать в себе все эти бесконечные запреты и унизительные «нельзя!».

Но столько сил истрачено на ежедневную склочную и мелочную борьбу, что, когда приходит час прозрения и нужно действовать, часто оказывается, что ты на это уже не способен. Подкрадывается душевная апатия, безразличие к успеху, не хочется играть, и артист уже сам выдумывает для самого себя тысячи причин, лишь бы не выходить на сцену.

Примером тому можно взять Владимира Софроницкого, чья погубленная карьера и жизнь целиком на совести невежественных чиновников от идеологии и от искусства. Кто на Западе знает этого, может быть, величайшего пианиста нашего времени? Творческая неудовлетворенность, постоянные унизительные одергивания и отсутствие простора для его огромного таланта сожгли ему душу, привели к пьянству, и он умер в 1961 году, едва дожив до 60 лет.

Святослав Рихтер! Его имя давно уже было легендой, весь мир ждал его выступлений, но его еще много лет не выпускали из Советского Союза по той причине, что его мать после войны оказалась в Западной Германии. И в то время как уже многие советские артисты выезжали на гастроли за рубеж, Рихтер был заперт в клетке и бился в ней, как прикованный цепью. А именно ему, этому пианисту-гиганту, нужен был творческий разворот на мировой сцене — он без этого задыхался. И только в 1961 году, когда ему было уже 48 лет, он впервые выехал за рубеж, в Америку, и то по специальному разрешению Хрущева, взявшего на себя личную ответственность за его возвращение в страну.

Но все годы, которые он прожил в закабалении, конечно, оставили в его душе неизгладимый след. То, что он теперь часто отменяет свои концерты, это не капризы и, я уверена, не болезни. Потому что, если артист хочеть играть, он и полумертвым выйдет на сцену — это я знаю по себе и по Славе. Просто ему давно подрезали крылья и его уже не влечет мировой простор.

Скоро провинциальные концерты стали оставлять в душе Славы горький осадок творческой неудовлетворенности. Но еще невыносимее было сидеть в Москве и ничего не делать, в то время как в концертных залах выступают его коллеги, в Большом театре идут спектакли, он же может быть только слушателем — гениальный музыкант, в расцвете сил. Надо сказать, что более верной медленной казни для Ростроповича придумать не могли. Весь вопрос был — надолго ли его хватит.

У нашего друга была хорошая коллекция русского фарфора, и вдруг Слава стал все чаще и чаще к ней приглядываться, потом начал покупать какие-то вещицы. В России все это давно исчезло из антикварных магазинов, и нужно было заводить новые знакомства с коллекционерами, ездить по каким-то адресам... А так как Ростропович ничего не делает наполовину, то скоро решил, что у нас должна быть самая лучшая в России коллекция русского фарфора. Поставив себе такую задачу, он кинулся на поиски сокровищ.

Пока он научился разбираться в этих вещах, была масса всяческих конфузов, когда ему за бешеные деньги продавали размалеванную дрянь, выдавая ее за музейную редкость. Но настоящим знатоком можно стать, только пройдя через ошибки и обманы. И Ростроповича это нисколько не смущало. Я рада была его новому увлечению и всячески поддерживала в нем энтузиазм, понимая, что лучше в доме битые, склеенные чашки, чем пьяные компании и разговоры ни о чем до утра.

Эта его страсть явилась спасением в его безделье. Но разве могла она подменить его профессию, его музыку, для которой он был рожден?! Я с ужасом глядела в будущее.



А. Лавданский.
Казанская богородица

И. Кручинин.
Господь вседержитель



жизни русских людей, всегда находившихся как бы в присутствии немых свидетелей их поступков, была очень велика. К тому же, и это главное, настоящая икона обязательно отражала изменения в исторической жизни народа, передавала его мироучвствие и устремления.

Нынешние мастера обращают наш взор к утерянным сокровищам национальной духовной культуры, в которых сегодня мы так остро нуждаемся. И не надо считать их отщепенцами или изгоями. Они могут и хотят стать полноправными участниками процесса духовного возрождения нашего народа.

Попытку помочь им сделали издатели неформальных православных журналов «Выбор» и «Храм», которые учредили «Независимый фонд церковного искусства».



А. Острецов. Св. Никита, побивающий беса

А. Эйтенейер. Николай Чудотворец Мирликийский



церковного искусства (иконописи, церковной архитектуры, реставрации возвращенных церкви храмов и т. д.). Для этого будет создан Центр православного искусства с действующей церковью, целиком восстановленной на средства фонда...»

Фонд намеревается также покупать работы у нуждающихся в материальной помощи мастеров и передавать их бедным приходам, защищать авторские права иконописцев. Но пока... Пока он сам нуждается в поддержке.

В один прекрасный день пришли к нам домой двое друзей — певцов из Большого театра. Они даже не вошли, а скорее ворвались, радостные, возбужденные, и, едва поздоровавшись, утащили Славу в кабинет для секретного разговора.

Через некоторое время оттуда вылетел Слава, зовет меня.

— Что случилось?

— А вот, пусть они сами тебе расскажут... Ну, ребята, пока! Я должен уйти, и на меня не рассчитывайте. Я подписывать не буду.

— Слушай, Галя, уговори Славу, все так потрясающе устраивается! Мы пришли от очень важных людей, нас послали специально к Славе с серьезным разговором. Сейчас организуется письмо против Сахарова. Если Слава его подпишет, то завтра же будет дирижировать в Большом театре, будет ставить любые спектакли, все что захочет.

— Что?! Ты хочешь, чтоб я его уговорила? Да если он подпишет — я придушу его своими руками. Как ты, мой друг, смеешь предлагать мне такое и за кого ты принимаешь Ростроповича?

— Но что особенного? Кто обращает внимание на все эти письма? Все так делают.

— А вот Слава не сделает.

— Почему?

— Ты не понимаешь, почему? Да чтобы дети не стыдились своего отца и не назвали его когда-нибудь подлецом. Понимаешь, почему?

— Но ты же видишь, что он может погибнуть как музыкант...

— Ничего, не погибнет...

— Он, такой великий артист, мотается по провинциальным дырам, играет черт знает с какими оркестрами, а он так нужен Большому театру — ведь все разваливается. Только Ростропович может еще спасти дело, которому мы с тобой отдали двадцать лет жизни. Сейчас реальный шанс стать ему во главе театра. Если же он письма не подпишет — путь ему в Большой театр закрыт.

— Ну что же, значит, он никогда не будет дирижировать в Большом театре, но останется порядочным человеком, останется Ростроповичем.

Удавка, накинутая на шею, подтягивала все туже и туже.

Приехал на гастроли из Сан-Франциско симфонический оркестр с дирижером Сейджи Озавой. Концерты их были запланированы давно, и по контракту в них должен был участвовать Слава. Как ни старались власти убрать его из московской программы, американцы не поддавались, и вот — о чудо! — пришлось позволить Ростроповичу выйти в Большом зале консерватории с концертом Дворжака. Конечно, сбежалась на концерт, что называется, вся Москва. Слава играл великолепно, но меня потрясло другое — то, как он вышел на сцену, как сидел, как кланялся публике... По тому, какими благодарными глазами он смотрел на Озаву, который был лишь в начале своей карьеры, как был признателен каждому артисту оркестра за то, что благодаря им он играет в великолепном зале,— я вдруг с ужасом увидела, что у Ростроповича в самой глубине четко наметилась будущая губительная трещина, что он очень скоро может полететь вниз.

В концертном зале, а потом и дома до глубокой ночи шло ликование. Друзья, поклонники, музыканты: гениально... гениально... феноменально... Все целовались, обнимались, счастливые, что в этот вечер слышали Ростроповича... великому артисту дали зал в Москве! А ведь, в сущности, нужно было устроить бунт, выразить возмущение, что ему зал не давали и впредь тоже не дадут. Но это уже Советская Россия...

Наконец все ушли, и мы остались вдвоем. Видя сияющего, счастливейшего Славу, я долго не могла решиться начать разговор.

— Слава, то, что я скажу тебе сейчас, не скажет никто другой. Тебе это не понравится, но мы с тобой одни, никто нас не слышит и не узнает, что я скажу тебе. Сегодня вечером ты играл...

— А что, что? Я плохо играл? Неправда, я хорошо играл...

— Нет, играл ты великолепно, ты не можешь плохо играть. Но тебе нужна большая публика, ты должен ездить за границу, иначе тебе конец. То, что ты все эти годы играешь в провинциальных дырах, уже оставило след в твоей душе. Ты теряешь свое качество великого артиста, который должен быть над толпой, а не с нею, ты теряешь высоту духа. Ты мне ничего не говори и не отвечай. Я сама артистка и знаю, как больно тебе это слышать, особенно после триумфального концерта. Но я была обязана сказать тебе... А теперь, если хочешь, можешь забыть наш разговор.

Осенью 1973 года Большой театр выезжал на гастроли в Милан. Не желая больше позволять властям бить меня по самолюбию, я решила отказаться от гастролей и пошла к директору театра, недавно назначенному Кириллу Молчанову.

— Кирилл Владимирович, вы умный и порядочный человек, мне не нужно вам долго объяснять, в каком положении я оказалась. Вы знаете, что по указанию, исходящему из ЦК, меня как прокаженную изгнали из радио, телевидения, мое имя запрещено упоминать в прессе.

— Да, я это знаю и всей душой вам сочувствую.

— Тогда как вы себе представляете мое положение сейчас, когда театр едет в Милан? Ведь из всех итальянских рецензий на спектакли с моим участием, которые перепечатают в советских газетах, вычеркнуто мое имя. Терпеть такое унижение перед всей труппой я не намерена и за себя не поручусь. Поэтому, во избежание громкого скандала, да еще за границей, я прошу вас освободить меня от поездки.

— Да никогда я на это не соглашусь! Не говоря уж о том, что и Министерство культуры не пойдет на такой скандал — итальянцы подумают, что вас не выпустили из-за Солженицына.

— Честно говоря, мне совершенно безразлично, что скажут итальянцы. Мне все смертельно надоело. Я устала от мышиной возни вокруг меня.

— А может быть, вам стоит пойти поговорить с Фурцевой?

— Зачем? Я не хочу ехать в Милан, и вы, как директор театра, ей об этом скажите. А если она будет настаивать на моем участии в гастролях, то передайте ей, что я требую гарантии, что не повторится недавняя история с волжскими концертами, когда во всех напечатанных рецензиях обо мне умудрились не называть моего имени. И чтобы было без обмана! В противном случае я созову в Милане корреспондентов и дам такое интервью, что чертям тошно станет. Вы знаете, мне есть о чем рассказать. И уж я свое обещание сдержу. И еще скажите ей, что если ее беспокоит, что́ подумают итальянцы, коль я не приеду, то я сама дам телеграмму, что сильно простужена и не могу выехать.

На другой день он позвонил мне и сказал, что был у Фурцевой, в точности передал ей наш разговор, и Катерина Алексеевна очень просит меня ехать в Милан и ни о чем больше не беспокоиться. Что она сама пойдет в ЦК партии говорить о создавшейся ситуации и, конечно, заверила, как всегда: «Клянусь честью, я все улажу». И она действительно попыталась уладить, правда, очень своеобразным способом.

Накануне отъезда в Милан ко мне домой поздно вечером пришла сотрудница кассы Большого театра и принесла 400 долларов, прося передать их одному из работников администрации, который находился уже в Милане и с которым я была в хороших, приятельских отношениях.

— Так что же он сам-то не взял? Он всего два дня как уехал.

— Я не знаю, он просил меня передать их вам.

— Но он, да и вы прекрасно знаете, что из всех труппы именно меня первую могут обыскать на московской таможне — не везу ли я на Запад рукописи Солженицына. И если найдут доллары — это уголовное дело.

— Но кто же посмеет вас обыскать!

— Нет, не возьму.

— Очень жаль, он был уверен, что вы не откажетесь...

Она как-то вся съежилась и поспешила уйти.

Ай да Катя! Доложила куда надо! Вот вам и «клянусь честью, я все улажу»... Весьма оригинальное понятие о чести. А я-то удивлялась, почему она не воспользовалась моим отказом и не освободила меня от гастролей. Так вот зачем я им понадобилась...

Расчет, конечно, был на то, что я возьму доллары, а меня на таможне обыщут, со скандалом отстранят от гастролей и обвинят в валютных сделках. Доказать, что деньги получила от стукачки, я не смогу — не было свидетелей,— и загалдят на весь мир, что доллары от «продавшего за золото свой народ» Солженицына. И мало того, захотят — так и показательный судебный процесс устроят за «валютные операции».

Ненависть властей к нему достигла к тому времени своего предела — они прочли «Архипелаг ГУЛАГ», рукописный экземпляр, хранившийся в Ленинграде у его знакомой Е. Воронянской. Как они напали на ее след, я не знаю, но Александр Исаевич рассказывал нам, что ее допрашивали в КГБ пять суток непрерывно, после чего она открыла место хранения рукописи и, вернувшись домой, повесилась.

Благодарение Богу, я не попалась в подстроенную ловушку. А ведь мне очень хотелось удружить моему приятелю. Но самое интересное, что он, который якобы так просил взять для него деньги, меня о них в Милане даже и не спросил. Не знал! Забыли его предупредить, что ли? Короче говоря, уразумев, что я уже в Италии и что лучше со мной не связываться, побежала Катерина обивать пороги по верхам, и бойкот прессы на время итальянских гастролей был прекращен. В советских газетах были перепечатаны восторженные рецензии итальянцев на «Онегина» с моим участием, а в «Известиях» от 1 ноября даже поместили такую фразу: «...все итальянские газеты обошла фотография Г. Вишневской, рецензенты называют ее лучшей певицей нашего времени». Это было последнее, что прочли обо мне в советской печати граждане России. С тех пор меня упомянули лишь раз в тех же «Известиях» 16 марта 1978 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР нас лишили гражданства.

Наконец, дошло уже до того, что мы приняли приглашение Московского театра оперетты для постановки «Летучей мыши» Штрауса. Весь свой талант, все, что застоялось в нем, не находя выхода, вложил Ростропович в эту свою работу и с утра убегал в театр. Я же так на сценические репетиции и не вышла — мне все казалось, что это напрасный труд, что что-то произойдет и дирижировать спектаклем ему в Москве не дадут, будь то хоть оркестр цирка. Но, чтобы не лишать его энтузиазма, я ему, конечно, не говорила правду, почему я все не начинаю репетировать на сцене. Иногда я сидела в зале, слушая, как он из оркестра полуинвалидов пытается создать шедевр. Что и говорить, конечно, они с ним играли так, как никогда ни до него, ни после, но ведь, как бы они ни старались, это все равно был низкий уровень, куда опустился великий музыкант, и видеть это было выше моих сил. Он, конечно, сам понимал, что падает на дно, но никогда не признался мне в этом, может быть, из-за мужского самолюбия, что я оказалась права, когда предсказывала ему все, что с ним случится. Он только стал за-

мыкаться в себе, что ему было совсем несвойственно, и появился у него растерянный взгляд, опустились плечи... Больше всего он не хотел, чтобы именно я видела его в унижении.

Здание Театра оперетты — бывший филиал Большого театра — находится от него буквально в ста метрах, и как-то после своей репетиции «Игрока» я зашла за Славой, чтобы вместе идти домой. Меня встретила в дверях секретарша.

— Галина Павловна, я сейчас позову Мстислава Леопольдовича, он просил ему сказать, когда вы придете.

— Да не беспокойтесь, я сама к нему пойду.

— Нет, он просил, чтобы вы здесь подождали.

— Да где же он? Что случилось?

— Он в буфете.

— Ну так я туда и пойду, покажите мне дорогу.

— Но Мстислав Леопольдович просил, чтобы...

Да, конечно, Ростропович не хотел, чтобы жена видела его в таком убожестве. Маленькая грязная комната в подвале без окон, грязные столы, под потолком тусклая, засиженная мухами лампа, очередь... в хвостеее стоит Слава... и даже ни с кем не разговаривает. Несмотря на то что довольно много народу, тишина, как в могиле. Когда я увидела его согнутые плечи и отсутствующий взгляд, мне стало страшно. Куда же делся блестящий Ростропович, каким я знала его столько лет, и чем все это кончится?

— Ах, ты пришла...

— Да, у меня кончилась репетиция, пойдем домой отсюда.

Трудно предугадывать дальнейший ход событий, но тут случилась совершенно непредвиденная история.

В Большом театре обступили меня артисты оркестра:

— Галина Павловна, почему вы отказались писать «Тоску»?

— Запись «Тоски»?!

— Да. Мы сейчас пишем оперу на пластинку. Нам сказали, что вы не хотите, и потому пишет Милашкина. Но это же ваша коронная партия!

— Да я никогда не отказывалась, я в первый раз об этом слышу!

Едва я пришла домой, звонит из студии грамзаписи одна из музыкальных редакторов.

— Галина Павловна, не отказывайтесь от записи. Вы же знаете, что, если мы сейчас сделаем пластинку, больше «Тоску» на нашей с вами жизни писать уже не будут. Ведь Милашкина записала несколько лет назад, это будет вторая. Поверьте моему опыту, третьей записи «Тоски» в Советском Союзе не будет.

— Так я совсем не отказывалась!

— Но нам так сказали...

И началось... Звонят артисты, хористы... Если бы не эти бесконечные вопросы и звонки, я бы никогда и не «взвилась». Черт с ней, с записью, мне было в те времена уже не до того. Но тут забурлил коллектив, и дело касалось моего престижа, моего положения примадонны театра.

Вместе со Славой мы пришли к Фурцевой. Несмотря на то что было лишь два часа дня, Катерина была уже как следует «поддавши» — и лыка не вязала.

— Катерина Алексеевна, я прошу вас вмешаться, я не требую, чтобы вы отменили запись Милашкиной. Я прошу дать мне разрешение на параллельную запись «Тоски» с другим составом солистов.

— Хорошо, клянусь честью... я все улажу... Славочка, как поживаете?

— Катерина Алексеевна,— попытался Слава пробиться к ее сознанию,— вы понимаете, в каком я положении? Ведь у Гали из-за меня все неприятности, мне так важно, чтобы вы помогли.

— Клянусь честью...— провякала Катя и, икнув, клюнула носом.

— Галя, но она же вдребезину пьяная, она спит.

— Тише, Слава!

— Да она ни черта не слышит... Катерина Алексеевна!

— А? Что? Ах, да, конечно, вы должны записать «Тоску», я понимаю и клянусь честью... я все улажу...

С тем мы от нее ушли. А через два дня она позвонила мне домой и сказала, что две записи «Тоски» разрешить не может, что это против всяких правил... Взбешенная, я бросила трубку, не желая больше с ней разговаривать. Слава тут же позвонил в ЦК Демичеву — он возглавлял отдел, занимающийся вопросами культуры, но тот оказался на совещании, и Слава попросил его секретаря, когда Петр Нилыч освободится, чтобы непременно соединил его по телефону со мной по очень важному делу. Сам же Слава тут же улетел в Молдавию на концерт.

К концу дня Демичев мне позвонил. Я была уже на таком взводе, что тут же разрыдалась.

— Галина Павловна, что случилось?!

— Петр Нилыч, я впервые за всю мою карьеру вынуждена обратиться за помощью.

— Успокойтесь, прошу вас, и расскажите, что произошло.

— Мне не дают записать на пластинку «Тоску».

— Вам?! Кто не дает? Вы, такая певица, и вы плачете... Да они должны за честь считать, что вы хотите делать пластинки.

От этих слов я заревела еще пуще и рассказала всю злосчастную эпопею, прося разрешить параллельную запись с другим составом.

— Но что за глупая история? Вы говорили с Фурцевой?

— Да, говорила, и она не разрешила.

— Ничего не понимаю. Я вас прошу побыть дома, не уходите никуда, вам сейчас позвонит Фурцева.

Думаю, что огрел он Катерину здорово, потому что не прошло и пяти минут, как она мне позвонила. Слезы у меня уже высохли, и я была злая, как ведьма.

— Галина Павловна, что произошло, как вы себя чувствуете?

— Плохо себя чувствую.

— Но почему? — удивилась Катя.

— Вы еще спрашиваете, почему? Потому что мне запрещают сделать запись оперы.

— Но кто же вам запрещает?! — уже в совершенном изумлении воскликнула Катерина.

— Вы запрещаете! Вы забыли, что ли?

— Но вы же не так поняли, я не запрещала. Работайте спокойно, не волнуйтесь, я сейчас распоряжусь.

Едва я положила телефонную трубку, как звонит Пахомов — директор студии грамзаписи «Мелодия».

— Галина Павловна! Пахомов говорит. Значит, пишем «Тоску». Нужен состав солистов. Кто Каварадосси?

— Соткилава, а на Скарпиа нужно пригласить Кленова.

— Та-а-а-к... Хорошо... Когда начнем?

Я поняла, что машина заработала и нужно не дать ей остановиться, немедленно начать запись. Была пятница, и за выходные дни мои дорогие коллеги не успеют мне нагадить, все учреждения закрыты.

— В следующий выходной театра — в понедельник.

— Но в понедельник вечером уже назначена запись «Тоски» с той группой.

— Так мы будем писать утром, мы им не помешаем.

— Но Эрмлер не сможет дирижировать утром и вечером.

— А нам и не нужен Эрмлер, Ростропович будет дирижировать.

— Ростропович?! Вот это здорово! Но ему же нужны репетиции — он «Тоской» в Большом театре не дирижировал.

— Мы с ним несколько раз ее играли на гастролях, ему репетиции не нужны.

— Прекрасно! Дирижер — Ростропович, Тоска — Вишневская. Это же запись будет на весь мир!

И на этой ликующей ноте разговор был окончен.

Я тут же позвонила Славе в Кишинев, рассказала ему, как мил со мною был Демичев, что запись назначена на следующий понедельник и что он будет дирижировать. Слава, счастливый тем, что все так хорошо окончилось, послал Демичеву телеграмму, такую любовную, как мне в наш медовый месяц.

В понедельник утром мы не подходили к телефону, боясь услышать, что запись отменена, и в 10 часов явились в студию. Артисты оркестра встретили Славу с распростертыми объятиями, все поздравляли друг друга с появлением у них снова музыканта такого ранга, и мы за три часа записали почти весь первый акт.

Конечно, возвращение Ростроповича к оркестру Большого театра рассматривалось всеми как его полная реабилитация, да, вероятно, так бы и случилось. Но... человек предполагает, а Бог располагает.

Вечером того же дня пришла прощаться Аля Солженицына — она уезжала в Швейцарию к Александру Исаевичу,— прошло уже больше месяца как он был насильно выдворен из России в сопровождении эскорта гебистов. У меня не было ощущения, что расстаемся навсегда, да и она тоже была уверена, что через какой-то срок все они вернутся домой. Мы сидели на кухне, разговаривая в основном жестами, беззвучно артикулируя губами... Аля пришла с грифельной доской и таким образом задавала вопросы или отвечала и тут же все стирала. Вдруг она пишет: «Вы собираетесь?» Мы со Славой в один голос: «Куда?» Она снова пишет: «Туда». Нам и в голову не приходило! «Конечно, нет!» После этого Слава ей рассказал, что вроде бы опалу с него сняли, что он снова дирижирует оркестром Большого театра.

А в это время группа певцов: Милашкина, Атлантов, Мазурок,— придя на вечернюю запись своей «Тоски», узнали, что утром началась запись той же оперы с другим составом. Казалось бы, ну и делай свое дело, пой как можно лучше, их же не лишили их работы. Но куда деваться от зависти? Нужно было любыми средствами избавиться от опасных конкурентов. Ухватившись, как за якорь спасения, за высланного уже Солженицына и его «Архипелаг ГУЛАГ», пошли они в ЦК партии к тому же Демичеву. В их благородной миссии, почуяв хорошую поживу, присоединились к ним Нестеренко и моя бывшая ученица Образцова. Увидев у себя в приемной рано утром караулящих его приход «трех мушкетеров» и двух «леди», Демичев был несказанно удивлен:

— Чем я обязан столь раннему визиту артистов Большого театра?

Первым выступил тенор — Атлантов,— хватив сразу с высокой фальшивой ноты.

— Петр Нилыч, мы пришли к вам по чрезвычайно важному делу, и не как артисты, а как коммунисты. Мы просим отстранить Ростроповича от оркестра театра.

— А разве он плохой дирижер? Вы имеете что-нибудь против него как музыканта?

И он в отдельности каждому задал этот вопрос, на что каждый ответил, что музыкант Ростропович великий и дирижер то же самое.

— Так чем же он вас не устраивает?

Тенор, баритон, бас, сопрано и меццо-сопрано, не считаясь со слаженностью ансамбля, заголосили, каждый желая выделиться кто как может.

— Он поддержал Солженицына своим письмом и тем самым выступил против линии нашей партии... И теперь, когда по иностранному радио передают «Архипелаг ГУЛАГ», мы от имени коллектива и коммунистов Большого театра требуем не допускать Ростроповича к оркестру театра. (Ай, как не повезло им, что был уже не 37-й год!)

Тут уж даже видавший виды секретарь ЦК по идеологии разинул рот от столь блестящего и хитрого хода и долго пребывал в таком состоянии. Когда же опомнился, то понял, что оставить сей великолепный донос без внимания нельзя: бравая пятерка, имея в руках «козырный туз» — не допустить к оркестру Большого театра врага народа,— побежит в другой кабинет по соседству, уже с доносом на него, что у него отсутствует чувство бдительности... Всю эту историю рассказал нам на другой день, зайдя к нам вечером, министр внутренних дел Н. А. Щелоков, закончив ее вопросом:

— А что же ваша протеже Образцова? Ей-то что было нужно?

Но вернемся к тому дню 28 марта, когда, ничего не подозревая о том, что произошло этим утром в ЦК партии, мы готовились идти в студию грамзаписи. Зазвонил телефон, и я взяла трубку.

— Галина Павловна? Как хорошо, что я вас застала дома, у вас должна была быть сегодня запись...

— Что значит «должна была»? Мы сейчас идем в студию.

— Нет, не ходите, записи не будет — занят зал.

— Кто со мною говорит?

— Вы меня не знаете, меня просили вам передать.

Слава тут же позвонил на студию.

— Что случилось с нашей записью? Ее перенесли на другой день?

— Нет, ее вообще отменили...

Слава побледнел, мне же вся кровь огнем хлынула в голову. Он кинулся звонить Фурцевой. Подошла ее секретарша:

— Ах, Славочка, как поживаете? Да, да, Екатерина Алексеевна у себя, я ей сейчас доложу, она будет рада поговорить с вами.

После долгого молчания она снова взяла трубку и смущенно зашептала:

— Ах, Славочка, у Екатерины Алексеевны совещание... Как только оно кончится, она вам сама позвонит.

— Передайте Екатерине Алексеевне, что я специально не ухожу из дома и жду ее звонка в любое время дня и ночи...

Прождав два часа, Слава позвонил снова.

— Нет, Екатерины Алексеевны нету, ее срочно вызвали в ЦК, когда она вернется, то вам позвонит.

Через час Слава еще раз позвонил.

Екатерина Алексеевна уехала на аэродром встречать делегацию...

Катерина явно пряталась. Так прошел день. На следующее утро, позвонив снова Фурцевой и услышав, что «к сожалению, Екатерины Алексеевны сейчас нет», Слава поехал на студию грамзаписи и прошел прямо к директору Пахомову.

— Скажите, пожалуйста, почему отменили нашу запись?

Тот нахально развалился в кресле...
— Потому что она нам не нужна.
— Так мы что, плохо ее сделали?
— Нет, все говорят, что вы ее сделали великолепно.
— Тогда дайте мне надежду, что мы сможем ее продолжить через месяц, через полгода... когда вы захотите...
— Нет, этого я вам не скажу.
— Так, может быть, кто-то вам запретил?
— А почему это я вам должен объяснять?
— Да потому, что нам запись разрешили в ЦК.
— А вот я вам говорю, что она нам не нужна.
Хлопнув изо всей силы дверью, Слава, не помня себя, прибежал домой и, хватаясь за сердце, почти теряя сознание, упал в кресло.
— Ты себе не представляешь, какое унижение я пережил сейчас, когда мне в лицо пришлось выслушать, что во мне не нуждаются. Ведь я давал ему возможность мне просто наврать, что они запишут нас через год, через два... Но эта тварь не удостоила меня даже ложью.

Да кто же посмел отменить запись, разрешенную секретарем ЦК партии? Отменить, когда уже записан первый акт? В открытую, на виду всего театра, замахнуться на меня и Ростроповича... Раз уж так взялись, значит, решили душить намертво.

Зная, как всегда беззащитен Слава перед открытым хамством, я представляла себе эту картину глумления над ним, и кровь стучала мне в виски так, что, казалось, разорвется голова... Вон отсюда... вон отсюда... Исчезнуть, и как можно скорее... Хоть на какое-то время не видеть эти похабные хари, раззявившие свои пасти в надежде получить поживу, сожрать с костями вместе... А мой театр?! Какой к черту театр, когда гибнет вся семья... мои дети... Слишком туго затянулась петля, и нужно рубить ее со всего маху — раздумывать некогда...

— Слава, ходить больше никуда не нужно. Хватит! Делать вид, что ничего не происходит, я больше не намерена. Садись и пиши заявление Брежневу на наш отъезд за границу всей семьей на два года.

От неожиданности Слава опешил...
— Ты говоришь серьезно?
— Так серьезно, как никогда в жизни. Даже если я смогу проглотить вонючую пилюлю и продолжать работать в театре, то тебе-то пришел конец: пойдешь по дорожке, давно проторенной русскими гениями,— будешь валяться пьяным в канаве или выберешь крюк покрепче да наденешь себе петлю на шею. Нужно только молить Бога, чтобы нас выпустили...

Мы подошли к иконам и дали друг другу слово, что никогда не упрекнем один другого в принятом решении. В тот же момент я почувствовала облегчение, будто тяжелая плита сползла с моей груди. Через несколько минут заявление было готово.

(Какое странное совпадение: именно в тот день, 29 марта 1974 года, улетела из России Аля Солженицына с матерью и детьми... Я узнала об этом лишь через десять лет в случайном разговоре, когда мы были у них в Вермонте в их имении. А тогда мне казалось, что она улетела на другой день после визита к нам. До какой же степени мы все были взвинчены...)

Чтобы заявление не застряло где-то в промежуточных инстанциях, я посоветовала Славе поставить о нем в известность двух людей — не доверяя друг другу, они вынуждены будут доложить о нем по назначению. Так и сделали. Слава написал Демичеву, объясняя случившееся и прося передать наше заявление Брежневу, а также что об этом заявлении нами поставлен в известность начальник отдела ЦК, ведающего зарубежными кадрами, Абрасимов. После чего он поехал в ЦК партии и оставил письмо у секретаря Демичева.

— Петр Нилыч через несколько минут освободится, может, вы хотите с ним поговорить?
— Нет, вы только передайте письмо.

Чтобы доехать от здания ЦК до нашего дома, нужно не более пятнадцати минут. Тем не менее, когда Слава вошел в квартиру, я уже разговаривала с позвонившим мне замминистра культуры Кухарским.

— Галина Павловна, мне нужно поговорить со Славой.
— Он только что вошел, пожалуйста.
Слава, бледный, измученный, взял трубку.
— Я вас слушаю... Нет, я не приду к вам, мне все надоело... Мне не о чем с вами говорить.
Тот попросил к телефону меня.
— Галина Павловна, я вас прошу прийти вместе со Славой сейчас в Министерство культуры.
— Я не пойду. У меня завтра утром генеральная репетиция «Игрока», я не желаю больше дергать себе нервы бесполезными разговорами.
— Я это знаю. Но дело очень серьезное... Катерины Алексеевны сейчас нет, и мне поручено говорить с вами обоими.
По его необычно просительному тону я поняла, что началось...
— Это что, о нашем заявлении, что ли?
— Да.
— Хорошо, сейчас мы у вас будем.

Нас поразило, с какой быстротой заработала государственная машина. Расчет наш оказался правильным — кинулись Демичев и Абрасимов вперегонки докладывать в самые высокие инстанции. С момента подачи заявления прошло немногим более получаса, а мы уже сидели в кабинете Кухарского. Кроме него здесь же был и второй заместитель министра культуры — Попов, в разговоре он участия не принимал, только был свидетелем.

— Здравствуйте. К сожалению, Екатерины Алексеевны сейчас нет, она уехала, и мы нигде не можем ее найти...

Я же думаю, что Катя к этому часу уже была готова — пьяная,— и ее в таком виде не рискнули выпустить на арену.

— Расскажите нам, пожалуйста, подробно все, что произошло.
— Чего рассказывать-то? — удивился Слава.— Вам же все известно.
— Мы должны доложить в ЦК, поэтому важно, чтобы вы сами объяснили, что явилось причиной вашего заявления.
— Это объясню вам я. Несколько лет открытых издевательств и всяческие унижения Ростроповича, отмена его концертов, отсутствие работы для него по его рангу выдающегося музыканта...
— Так что же вы к нам не обращались?
— Не обращался?! Да я лично Брежневу несколько телеграмм и писем послал, прося спасти мне жизнь... Не обращался!.. Меня никто ни разу не удостоил ответом.

— Вы запретили ему все заграничные поездки, гноите его в провинциальной глуши и хладнокровно ждете, чтобы этот блестящий артист превратился в ничтожество. К сожалению, он терпел бы ваши выходки еще долго. Но в хулиганской истории с записью «Тоски» вы нарвались на меня, а уж я терпеть не намерена, характер у меня не тот.

— А что, собственно, произошло с «Тоской»?

— Ничего особенного. Просто нас выгнали из студии, а Пахомов — это мурло — в лицо Ростроповичу сказал, что в нашем искусстве не нуждаются. Только и всего. Вы же понимаете, что если он посмел так говорить насчет артистов самого высокого положения в стране, то получил на это право от правительства. Именно так я понимаю нанесенное нам оскорбление, и разговаривать по этому поводу я ни с кем больше не желаю, и второй раз оскорбить меня не удастся.

— Я сейчас распоряжусь найти этого идиота Пахомова!.. За такие дела мы ему так врежем!..

— Да не ищите вы его и не сваливайте все на очередного идиота. Мне ведь не нужно вам объяснять, что отменить запись, разрешенную лично секретарем ЦК Демичевым, мог только он сам или тот, кто стоит над ним. Далеко искать не нужно.

— Ну хорошо... с этим мы разберемся. Но скажите, Мстислав Леопольдович, вы же работали!

— Да, я работал в провинции. Но в Большом театре я уже несколько лет не дирижировал. В Москве и Ленинграде много раз срывали мои концерты, а в последнее время просто запретили давать мне зал и столичные оркестры.

И тут Кухарский выдал, видимо, уже давно заготовленный козырь.

— Вот вы жалуетесь, что не играете с лучшими оркестрами...

— Да, жалуюсь...

— Но что делать, если эти оркестры не хотят играть с вами? Мы не можем их заставить.

От этих слов Слава онемел, на него нашел столбняк... Я смотрела на сидящего напротив меня негодяя, и мне стоило неимоверного усилия сдержать себя и не вцепиться зубами ему в глотку.

— Так вот в чем дело?! Спасибо, что вы нам об этом сказали. Здесь не хотят с Ростроповичем играть, а оркестры Парижа, Лондона, Нью-Йорка об этом мечтают. Значит, никакого другого выхода у нас и нет, как только отсюда к ним уехать. А вам самое время от нас избавиться!

— Не очень-то обольщайтесь насчет заграничных оркестров!

— А уж это не ваша забота!..

— Привыкли, что с вами здесь церемонятся, и заявление-то — ишь, куда замахнулись — самому Брежневу!

— Ничего, замахнулись по своему рангу. К кому нам здесь еще и обращаться...

— Для этих дел существует ОВИР.

— А кто это такой Овир? Я его не знаю. Слава, кто такой Овир?

— Не кто, а что — там занимаются эмиграционными вопросами,— единственный раз раскрыл рот Попов и снова замолчал.

— В ОВИР вы нас не отсылайте — эмигрировать мы не собираемся, но за границу мы уедем и там подождем, когда с Ростроповичем захотят здесь играть. Ладно, пойдем, Слава. Им строчить докладную в ЦК, а у меня дело потруднее — мне завтра утром генеральную репетицию петь.

— Ну смотрите, чтобы все это не оказалось шантажом!

— Что-о-о?!

— Да, да. Раз подали заявление, так не идите на попятный. И не надейтесь, что вас будут уговаривать...

— Я вижу, что вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Уговаривать нас имело смысл раньше, теперь же никакие ваши уговоры не помогут. Больше того, если нас не выпустят, мы поднимем шум на весь мир. Ждать ответа будем две недели.

— Мы думаем, что власти не будут возражать против вашего отъезда.

— Спасибо, это все, что нам нужно.

Вылетев пулей из этого зловония, мы поехали на дачу — взять оттуда детей. Странное чувство охватило меня, когда я вошла в дом,— будто все уже не мое. Да, впрочем, никогда и не было моим, у нас могут у любого всё отобрать в одну минуту. Прошла по всем комнатам, не чувствуя никакого сожаления, что скоро надолго расстанусь со своим гнездом. В зале одиноко стоял Слава и даже не слышал, как я подошла.

— Слава, не жалей ни о чем.

— Сколько любви, сколько сил я вложил в этот дом...

— Не думай о доме, спасай свою жизнь.

Вызвали дочерей, и Слава очень осторожно, чтобы не напугать их принятым нами решением, сказал, что мы подали заявление на отъезд из России на два года.

Наши дети — Лена шестнадцати и Ольга восемнадцати лет,— видя, в каком удрученном и взволнованном состоянии находимся мы оба, пытались скрыть захлестнувшую их радость от столь неожиданного известия и из последних сил старались удержать рты, невольно растягивающиеся в улыбки. Наконец, поняв, что все усилия напрасны, счастливые, повисли у нас на шее.

— Вот красота! Неужели нас отпустят!..

Для них отъезд был как свалившийся с неба билет на увеселительное двухлетнее путешествие вокруг света.

На другое утро, взвинченная до последней степени, с покрасневшими на нервной почве голосовыми связками, я вышла петь генеральную репетицию «Игрока», хотя врач нашего театра категорически запретил мне петь в таком состоянии — я могла навсегда потерять голос. Как у меня хватило выдержки — не понимаю. Но в те дни начались у меня спазмы дыхательных путей, и с тех пор стоит лишь мне понервничать, как у меня перехватывает дыхание.

По театру разнеслась уже весть, что мы подали заявление на выезд, и все с ужасом смотрели на меня. Причины, правда, были разные. Та пятерка исходила злобой и завистью, что вдруг нас выпустят за границу,— ведь не о том они мечтали, когда пошли с доносом в ЦК. В этом случае они сами хотели бы быть на нашем месте. А мои друзья и доброжелатели были уверены, что нас ни за что не выпустят и создадут такую для меня обстановку, что я вынуждена буду из театра уйти.

У меня же была теперь одна цель в жизни — уехать во что бы то ни стало и добиваться этого любым путем.

Я обычно никогда не смотрю в зал, не вижу публики. Но в сцене «Игорный дом» я нахожусь высоко над игроками в своей комнате, в течение всей картины открытая для публики и, по замыслу режиссера, застывшая в неподвижной позе. Сцена подо мною длится минут 10—15. Сейчас, прижавшись в угол дивана, я смотрела сверху прямо в зрительный зал.

Как странно... Утренняя генеральная репетиция, а много черных костюмов и белых рубашек, необычно много мужчин. Может, и всегда было так, но я раньше просто не видела зрительного зала... Приемная комиссия из ЦК, чиновники из Моссовета, КГБ, Министерства культуры... Мужчины России... После репетиции засядете строчить отзывы или доносы, а бабы русские вручную железные дороги строят, мостовые мостят... Вы же в ролях надзирателей... Вот и сейчас коршунами сле-

телись принимать спектакль бывшего формалиста Прокофьева. Будьте бдительны! Кляуза уже была... Заодно вы «любуетесь» сейчас и мною, всем вам уже известно: в Большом ЧП! — подала заявление на длительный отъезд, расплевалась с великодержавным Большим театром певица, вон та, что на верхотуре сейчас сидит. Это непорядок, и такого еще не бывало. Из Большого театра народной артистке СССР полагается только на пенсию, и тогда — юбилейный спектакль и орден... Или ногами вперед, и в этом случае панихида в большом фойе, хор, оркестр и Новодевичье... Как же так недоглядели и не придушили раньше, чтобы не мешала жить, не нарушала освященный десятилетиями покой и благолепие. Глядя на их обращенные ко мне тупые, оплывшие физиономии, всей своей шкурой я чувствую, с каким удовольствием стащили бы они меня за ноги со сцены, бросили на пол и затоптали бы ногами так, как их обучали: «На тебе, падло! чтобы другим неповадно было».

Но если у меня, получившей пинок, от ярости кровь кидается в голову так, что я готова разбить ее вдребезги об эти стены,— то что же пережил Прокофьев, которого много лет мордовали на открытых собраниях и в прессе? Гениальный Прокофьев, чью оперу вот сейчас только, через шестьдесят почти лет после того, как она написана, впервые представляют советской публике... нет, не публике, а вот этим держимордам, вольным вынести свой приговор блестящему сочинению: пущать или не пущать, казнить или миловать.

У меня плыли красные круги перед глазами. Я не заметила, как «комната» опустилась вниз,— началась моя финальная сцена с Алексеем. И когда по действию подошло время моей «истерики», во мне будто прорвало плотину. Я кричала с таким отчаянием, мне хотелось, чтобы от моего крика обрушился зал и поглотил весь народ, который я сейчас так ненавижу, а вместе с ним поглотил бы и меня, потому что я сама плоть от плоти этого народа... И этот Алексей, трясущимися руками протягивающий мне — Полине — груду денег... Но разве может он спасти меня от леденящего душу унижения, не перед кем-то, а самое главное — перед самой собой? Снова быть униженной — и таким ничтожеством! Да ни за что на свете! Бросить ему в лицо эти деньги, и будьте все прокляты! не видеть, скорее бежать, зарыться в нору... «Вот тебе твои деньги!»...

Чуть не падая от пережитого, я стояла в кулисе, кто-то коснулся моего плеча — Лариса Авдеева, она пела в спектакле партию Бабуленьки.

— Галя, что с тобой? Ты так кричала, мне стало страшно за тебя. Успокойся! Ведь счастье, что вас уже давно в тюрьму не посадили...

Ну да, не посадили, и слава Богу... Ах, люди, люди...

Едва пришла домой — звонит Фурцева.

— Галина Павловна, что за история такая? Почему вы подали заявление, не поговорив со мною?

— Катерина Алексеевна, я устала, я только что пришла с генеральной репетиции. Я не хочу больше объяснять вам то, что вы хорошо знаете. Одно скажу вам: отпустите нас по-хорошему, не создавайте скандала и не шумите на весь мир — ни я, ни мой муж в рекламе не нуждаемся. Через две недели будьте любезны дать ответ, дольше мы ждать не намерены и будем предпринимать следующие шаги. Раз мы пришли к решению уехать, мы этого добьемся. Вы меня достаточно хорошо знаете, я пойду на все.

— Мы могли бы спокойно объясниться, я пойду в ЦК, и все утрясется. Какие ваши желания?

— Катерина Алексеевна, теперь ничего не нужно. Ни мне, ни Славе. Я хочу только одного — спокойно и без скандала отсюда уехать.

В течение двух недель несколько раз порывалась она заманить на разговор Славу:

— Славочка, приходите, но только без Гали...

— Нет, без Гали я не пойду. Эта ситуация касается нас обоих.

В эти напряженнейшие дни, когда решалась судьба всей нашей семьи, нам позвонили из американского посольства:

— Господин Ростропович? С вами говорит секретарь сенатора Кеннеди. Вы, конечно, знаете, что он сейчас в Москве.

— Я вас слушаю.

— Господин сенатор просил вам передать, что он был сегодня у господина Брежнева и среди прочих вопросов говорил о вас и вашей семье, что в Америке очень взволнованы вашей ситуацией, и господин сенатор выразил надежду, что господин Брежнев посодействует вашему отъезду.

— О, спасибо, спасибо! Передайте господину Кеннеди благодарность всей нашей семьи, его поддержка так важна нам в такие трудные для нас дни!

Впервые повеяло прорвавшимся к нам издалека свежим ветром, и впервые за долгое время у Ростроповича заблестели глаза. Как мы узнали уже за границей, большое участие в нашей судьбе принял наш друг дирижер Леонард Бернстайн. Узнав, что Кеннеди едет в Москву, он говорил с ним лично и просил нам помочь. Но то — иностранцы. Русские же — не посадили, и слава Богу...

Через несколько дней истекло две недели с подачи нашего заявления, и нас вызвала Фурцева.

— Ну что ж, могу вам сообщить, что вам дано разрешение выехать за границу на два года. Вместе с детьми.

— Спасибо.

— Кланяйтесь в ножки Леониду Ильичу — он лично принял это решение. Оформим ваш отъезд как творческую командировку.

Теперь нужно было как можно скорее выпроводить Славу. Брежнев хоть и разрешил отъезд, никакой гарантии не было, что он же и не запретит в любой момент. Слава волновался, что если он один уедет, то меня потом не выпустят. Я же должна была еще два месяца оставаться в Москве: Ольга сдавала приемные экзамены в консерваторию, ей было восемнадцать лет, и я не считала себя вправе отговаривать ее от столь важного шага в ее жизни. Мы решили, что если она экзамены выдержит, то возьмет творческий отпуск, а через два года приедет и начнет заниматься.

Теперь я понимаю, каким это было огромным риском оставаться в Москве,— нужно было хватать всех в охапку и бежать без оглядки. А тогда я уговорила Славу, чтобы он ехал один, взяв с собою нашего огромного пса — ньюфаундленда Кузю.

— Ты должен немедленно уехать, и, если что случится с нами, ты оттуда можешь требовать и кричать. Если не уедешь — кто знает, что случится через неделю, кому что взбредет в голову, может, нас всех не выпустят.

Но, самое главное, зная, в каком удрученном состоянии находится Ростропович, я больше всего на свете боялась, что нас начнут уговаривать остаться. Для меня все сомнения и волнения кончились, как только мы получили разрешение, с тех пор я крепко спала по ночам.

Слава же, как он мне признался уже за границей, уходил тихонько на кухню и там плакал. Этот умнейший человек, блестящий артист, заявление-то хоть и подал, а все ждал, что его вызовут для серьезного разговора, будут просить остаться, на что он с радостью согласится. Его убивало сознание, что он оказался никому не нужным в своей стране, что от него с такой легкостью отказываются.

Подходило время очередного конкурса Чайковского, где Слава всегда возглавлял жюри виолончелистов, и он надеялся, что его попросят отсрочить отъезд... Но никто его, конечно, не звал. Тогда он сам позвонил Фурцевой.

— Катерина Алексеевна, скоро конкурс начинается, там играют мои ученики. Я мог бы, если нужно, остаться на это время в Москве... позаниматься со студентами...

— Нет, нет, не нужно, уезжайте, как и наметили, 26 мая.

Вопреки моим уговорам, он продолжал репетировать «Летучую мышь» в Театре оперетты, я же, конечно, отказалась. Ему все еще хотелось показать, доказать, на что он способен. До какой степени нужно было быть наивным, чтобы надеяться, что ему еще дадут дирижировать в Москве премьерой хотя бы и в таком второразрядном театре.

Но если ему мало было полученных пощечин, то он дождался еще одной. Во время оркестровой репетиции, за несколько дней до намеченной премьеры, его вызвал к себе в кабинет художественный руководитель театра Ансимов, который раньше без слез умиления и счастья не мог разговаривать со Славой и, сидя в зале, слушая его репетиции, кричал только одно: «Гениально... Гениально!»

Тот самый Ансимов, что лишь месяц тому назад на дне рождения Славы провозгласил тост: «Завидуйте мне все — я один из всех вас живу при коммунизме. Ведь только при коммунизме такой маленький человек, как я, смог бы работать с Ростроповичем» (вот уж что верно, то верно). Теперь он сидел, развалясь в кресле, и даже не поднялся навстречу.

— Ты знаешь, Слава, я должен серьезно поговорить с тобой.

— Что случилось?

— Мы не можем дать тебе дирижировать нашим оркестром.

— Вам запретили?

— Нет, нам никто не запрещал, но дело в том, что... как бы тебе помягче объяснить... как музыкант ты сильно деградировал, и мы не можем доверить тебе премьеру нашего столичного театра... Да, да, не обижайся на меня, как музыкант ты стал теперь намного слабее...

У Славы хватило только сил выйти из театра, перейти дорогу и спрятаться от людей в первой подворотне, где он в голос разрыдался.

Рассказал он мне за границей, как за два дня до отъезда он пришел к нашему соседу по даче Кириллину, зампредседателя Совета министров, чтобы тот поговорил с кем-нибудь в правительстве.

— Ты объясни им, что я не хочу уезжать. Ну, если они считают меня преступником — пусть сошлют меня на несколько лет, я отбуду наказание, но только потом-то дадут мне работать в моей стране, для моего народа... Перестанут запрещать, не разрешать...

Кириллин обещал поговорить. На другой день, придя к Славе на дачу, вызвал его в сад. Вид у него был очень расстроенный.

— Я говорил о тебе, но слишком далеко все зашло — ты должен уехать. Уезжай, а там видно будет...

После чего они вдвоем в дымину напились.

Да, Ростропович правильно рассудил, что не стоило рассказывать мне эту историю в Москве!..

Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики... Вокруг вертелись какие-то подозрительные типы в штатском. Проводы были как похороны — все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно... Вдруг Слава схватил меня за руку, глаза, полные слез, и потащил в таможенный зал.

— Не могу больше быть с ними, смотрят на меня как на покойника...

И, не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним.

— Галя, Кузя не хочет идти! — раздались крики нам вслед.

Наш огромный, великолепный Кузя распластался на полу, и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Это природное свойство

ньюфаундлендов — если не захочет пойти, то ни за что не встанет. А веса в нашем Кузе девяносто килограммов — попробуй подними!

Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго ему объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают... Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе.

— Откройте чемодан. Это весь ваш багаж?

— Да, весь.

Слава открыл чемодан, и я остолбенела — сверху лежит его старая рваная дубленка, в которой истопник на даче в подвал спускался. Когда он успел положить ее туда?..

— Ты зачем взял эту рвань?! Дай ее сюда, я обратно унесу.

— А зима придет...

— Так купим! Ты что, рехнулся?

— Ах, кто знает, что там будет... Оставь ее.

Ростропович уезжал на Запад морально уничтоженный, с опасением, что там он тоже никому не нужен.

Один таможенник стал рыться в чемодане, другой полез Славе в карманы костюма, достал бумажник, своими руками стал вытаскивать мои записочки, письма, что Слава всегда с собою возил как реликвии,— все это при нас внимательно читая. У меня было ощущение, что я нахожусь в гестапо, я видала такие обыски лишь в кино. Да, такой «творческой командировки» у нас еще не бывало.

— Это что за коробки, почему так много?

— Мои награды.

...Золотые медали от Лондонского королевского общества, от Лондонской филармонии, золотая медаль (и очень тяжелая!) от Израиля, еще и еще золотые именные медали, иностранные ордена... Все это в открытых коробках разложили на большом столе. От Советского государства орденов у Славы не было, только две медали — Государственной и Ленинской премий, да медаль «За освоение целинных земель» и медаль «800 лет Москвы», что дали тогда всем москвичам. Таможенник пододвинул Ростроповичу две последние жестянки:

— Это можете взять. А остальное нельзя — это золото.

Славу всего затрясло:

— Золото? Это не золото, это моя кровь и жизнь, это мое искусство!.. Я зарабатывал честь и славу своей стране... А для вас это золото. Какое вы имеете право!..

Видя, что с ним сейчас начнется истерика, мы с Ириной Шостакович оттащили его в угол. Смотрю, один таможенник куда-то пошел...

— Замолчи, слышишь? Замолчи, или я тебя задушу!

— Я не могу, не могу больше этого видеть!

— Закрой рот, и чтобы я не слышала больше ни одного слова. Вспомни, что двое твоих детей стоят вон там и я здесь остаюсь. Ты понял, что ты делаешь? Успокойся... Сейчас ты сядешь в самолет... закроешь глаза и откроешь их, когда будешь в Лондоне. И ты увидишь совсем другие лица. Вспомни, сколько друзей тебя ждет там, скоро ты увидишь Бена и Питера...

Вернувшись к столу, я вытащила из чемодана брюки от пижамы, завязала штанины узлом и побросала туда коробки. Смущенный чиновник стал мне объяснять, что его напарник пошел звонить, может, еще разрешат в виде исключения...

— Ничего не надо, я все забираю домой. Давай прощаться, Слава... Звони сразу, как прилетишь...

Слава с двумя виолончелями и с Кузей на цепочке прошел через паспортный контроль, а я, перекинув штаны, как мешок, через плечо, вышла к провожающим.

— Галина Павловна, что это у вас?

— Награды Ростроповича несу обратно. Из Советского Союза можно вывозить ордена и медали, только сделанные из натурального дерьма.

Через три часа мы уже слушали по Би-би-си Славин голос из лондонского аэропорта: «...я благодарен Советскому правительству, что они вошли в наше положение и разрешили нам выехать на два года... еще должна выехать моя жена и дети...»

В канцелярии театра на всеобщее обозрение висела выписка из приказа, что «народная артистка СССР Г. П. Вишневская направляется Министерством культуры в творческую командировку за границу сроком на два года».

Но после премьеры «Игрока» — оперы, никогда не шедшей в России,— из-за моего имени уже ни одна газета не напечатала рецензий, включая и написанную Шостаковичем для «Правды». Лишь спустя полгода, когда ввели в спектакль новую исполнительницу, а я давно была за границей, появились критические статьи на этот блестящий спектакль.

За те два месяца, что я оставалась еще в Москве, мне много раз приходилось слышать по радио мой голос в передачах опер из Большого театра, записанных на пленку, но никогда не упоминалось в числе исполнителей мое имя.

Меня эти укусы уже совершенно не тревожили, я только отсчитывала дни, когда наконец надолго покину так любимую когда-то мою землю и мой народ.

В следующем номере в рубрике «Литература и искусство» будут напечатаны фрагменты романа Абрама Терца (Андрея Синявского) «Спокойной ночи».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 «ГОРИЗОНТА»:

По горизонтали: **6.** Кошевой. **9.** Кулик. **10.** Катод. **11.** Сологуб. **12.** Порог. **14.** Вотум. **15.** Манипулятор. **20.** Баскетбол. **21.** Полковник. **22.** Перегон. **23.** Черника. **26.** Категория. **27.** Паневежис. **30.** Силосование. **33.** Рацея. **34.** «Ермак». **35.** Дисплей. **36.** Рубин. **37.** Кожух. **38.** Техника.

По вертикали: **1.** Волошинов. **2.** Декорум. **3.** Модулятор. **4.** Кулон. **5.** Бином. **7.** Багор. **8.** Тонус. **13.** Гастрономия. **14.** «Воскресение». **16.** Такелаж. **17.** Скрепер. **18.** Квинтет. **19.** Бисквит. **24.** «Живописец». **25.** Канарейка. **28.** Колпино. **29.** Валуй. **30.** Серия. **31.** Ершов. **32.** Шатун.